

Игорь Болгарин
Виктор Смирнов

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

КОЛЛЕКЦИЯ
Военных
Приключений



Военные приключения (Вече)

Игорь Болгарин

Обратной дороги нет (сборник)

«ВЕЧЕ»

1979, 2006

Болгарин И. Я.

Обратной дороги нет (сборник) / И. Я. Болгарин — «ВЕЧЕ»,
1979, 2006 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4444-9119-5

В книгу известных российских писателей Игоря Болгарина и Виктора Смирнова вошли произведения, раскрывающие два разных, но одинаково драматичных эпизода Великой Отечественной войны. «Обратной дороги нет» — это повесть об одной партизанской операции, остроумной по замыслу и дерзкой по исполнению, в результате которой были освобождены из концлагеря и вооружены тысячи наших солдат. Вторая повесть «И снегом землю замело...» о том, как непросто складывались отношения местного населения с немецкими военнопленными, отправленными в глухие архангельские леса на строительство радиолокационной вышки. Постепенно возникает не только дружба, но и даже любовь... Телесериалы, созданные на основе этих повестей, завоевали популярность и заслуженное признание зрителей.

ISBN 978-5-4444-9119-5

© Болгарин И. Я., 1979, 2006
© ВЕЧЕ, 1979, 2006

Содержание

Обратной дороги нет	6
День первый. Человек из болота	6
День второй. Обоз выходит	13
День третий. Записка в «почтовом ящике»	16
День четвертый. «Все идет хорошо»	23
День пятый. Гонта показывает характер	29
День шестой. Бой в чернокоровичах	35
День шестой. Измены	41
День шестой. Топорков раскрывает тайну	46
День седьмой. Западня	53
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Игорь Болгарин, Виктор Смирнов

Обратной дороги нет (сборник)

© Болгарин И.Я., 2016

© Смирнов В.В., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

* * *

Обратной дороги нет

День первый. Человек из болота

Он бежал и бежал, хватая руками стволы низкорослых деревьев, кустарник, падая, давясь кашлем и снова вставая, бежал все дальше и дальше в глубь спасительного леса.

Ноги и руки безостановочно работали, легкие со свистом и хрипом вбирали воздух, а голова его была заполнена одним лишь видением, одной картиной, которая повторялась назойливо, безостановочно, как музыкальная фраза в испорченной грампластинке.

Он видел длинные серые бараки и бетонные шестиугольные плиты на плацу, видел шеренгу мокрых, съежившихся под дождем людей в гимнастерках, фланельках и ватниках, видел настороженные злые глаза овчарок, сидевших у ног солдат-проводников, и фигуру высокого офицера в длинной шинели, который шел вдоль шеренги, взглядываясь в лица.

И слышал слова: «Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter, vortreten!.. Fünfter, vortreten!.. Fünfter!.. Fünfter!..»¹

И в длинной шеренге людей каждый пятый, склонив голову и не глядя на товарищей, делал шаг вперед.

1

Было тихо, как бывает в Полесье только в конце октября, когда серое тяжелое небо尼克нет к земле, когда смолкают оставшиеся хозяйствничать в лесу сойки и синицы и слышен лишь комариный капельный звон, который, едва привыкнет ухо, воспринимается как самая глубокая тишина.

Лес словно бы вымер. Но внимательный глаз, осматривающий чахлый березнячок, который спускался к болоту и переходил в осиновое редколесье, различил бы на пригорке небольшой песчаный бруствер, над которым торчал, как палка, дырячий кожух немецкого пулемета: черный дульный зрачок высматривал что-то в низине. За бруствером виднелись трое разношерстно одетых промокших людей, прижавшихся друг к другу, словно птенцы в гнезде.

Человек, сидевший у самого пулемета, был старшим в группе, и это чувствовалось сразу по тому хотя бы, как он хмурил густые, сцепившиеся у переносицы брови или, оглядывая товарищей, тяжело и властно поворачивал голову, сидевшую в плечах, обтянутых облезшей кожаной курткой, плотно, как ядро в крепостной стене. Лицо у него было скуластое, простое, но с той значительностью, которая приобретается определенным начальственным опытом.

По правую руку пулеметчика сидел узкоглазый старик, с бородкой тощей, как стертый веник. В брезентовом дождевике с капюшоном, неторопливый, даже задумчивый, он походил на сторожа или пасечника, а это, как известно, большие философы и миролюбцы; вот только винтовка с оптическим прицелом, лежавшая рядом со стариком, разрушала идиллическую цельность образа.

Третим был подросток, щуплый представитель того многочисленного партизанского поколения, которое разом, минуя юность, шагнуло из детства в трудный взрослый мир и, не научившись еще задумываться ни о прошлом, ни о будущем, не тяготясь семейными заботами, воевало отчаянно, без оглядки.

– Скоро сменяться-то? – спросил подросток у старшего. – В ушах хлюпает!

¹ «Первый, второй, третий, четвертый, пятый!.. Выйти вперед, пятый!.. Выйти вперед, пятый!.. Пятый!.. Пятый!..» (нем.)

Пулеметчик невозмутимо рассматривал в бинокль болотце.

– Каши горячей я бы съел... – продолжал подросток. Старик достал из-под дождевика ржаную краюху:

– Пожуй!

– А ну тихо! – приказал старшой. Он углядел на той стороне болота, на пригорочке, двух фашистских солдат в егерских куртках с изображением эдельвейсов на рукавах. Их кепи то и дело обращались друг к другу; немцы болтали. А правее...

– Погляди, Андреев. – Пулеметчик протянул старику бинокль: – Вот, под ольхой...

– Два егеряка фрицевых, – сказал зоркоглазый Андреев, отстранив бинокль. – Мы их сторожим, а они нас.

– А теперь правее, где осинничек...

И старшой вновь поднес к глазам бинокль. Неподалеку от егерей, где зыбкое болото, поросшее острым резаком, уходило под обманчиво плотный мшистый ковер с буграми кочек, зашевелилась высокая трава. Все застыло под тихим дождем, но трава шевелилась.

– Не иначе опять тропу щупают, – прошептал Андреев.

К болоту выполз человек.

Он был в рваном ватнике и таких же рваных штанах-галифе, босой, с обритой головой на тонкой шее. Человек приподнялся, заметил неподалеку егерей и приник к земле.

Распластавшись на мшанике, который хоть и подавался под тяжестью тела, но все же удерживал его, человек осторожно пополз в сторону партизан.

– Точно, ищет, – сказал пулеметчик и успокоенно вздохнул. – Третий за неделю... Скоро заверещит.

Андреев не ответил. Он подался вперед, выставив бородку, и пристально наблюдал за болотом.

– Во! – сказал оживившийся подросток, заметив, что рука ползущего проткнула тонкий мшаный настил и ушла в болото.

Но человек, испуганно выдернув руку, продолжал ползти по мшанику. Он утопал в податливом, зыбучем полотне, как в перине. Изредка, когда фонтанчики темной воды пробивались на поверхность, он замирал, а затем снова полз.

– Настырный фашист, – заметил подросток.

– Это не фашисты тропу ищут, Назар! – солидно пояснил пулеметчик. – Это они полицаев посыпают. Им чего остается, полицаям-предателям?

– Германцы себя жалеют, точно, – отозвался Андреев. – Экономисты, бухгалтера! Это у нас дебет с кредитом не сходится... Верно, Гонта?

– Разговорчики брось, дедок! – пулеметчик указал глазами на подростка.

– Дай-ка я ему врежу, из снайперской, – предложил Андрееву подросток по имени Назар. – Не пожалей, дед! – И шмыгнул носом.

– Стрелять не велено, пока Ванченко не вернется, – буркнул Гонта. – Стихни...

Человек дополз до края мшаника, где начиналась открытая вода, и поднял голову. Лицо его, заросшее щетиной, покрытое грязью, было узко и темно, как старинный иконный лик. Только глаза светились в глубоких впадинах.

Он посмотрел в сторону егерей и, зачерпнув темной гнилой воды, поднес пригоршню к рту, напился.

– Сдается, не полицай это... и не фашист, – сказал Андреев и еще дальше выдвинул над бруствером свою тощую бородку. – Те кормленые. Те давно провалились бы в болото.

Человек осторожно сполз с мшаника в воду. Темная вода охватила его по грудь.

Он сделал первый шаг и тут же глубоко ушел в жижу. Рванувшись в сторону, он продвинулся немного, с трудом преодолевая сопротивление вязкого болота.

– Щупает, – сказал Гонта. – Далась им эта тропа!

Человек оступился. Болото тут же схватило его за плечи. Он выбросил руки, стараясь зацепиться за кочку, плававшую неподалеку, но та податливо ушла вниз.

Он раскрыл рот в беззвучном крике, откинул голову, стараясь податься назад.

– Не шумит! – взволнованно сказал Андреев, высунувшись из окопчика. – Те двое вон как кричали! Своих звали.

– Погоди, и этот позовет, – возразил Гонта. – Еще не приспичило.

Тот, кого они считали разведчиком тропы, барахтался, увязал в трясине всего в ста метрах от егерей-дзорных. Он молчал. Болото уже накрыло его плечи липкой, слизистой ладонью.

Выбившись из сил, он на какое-то мгновение прекратил борьбу, застыл. Голова его торчала из болота, как некий диковинный плод. Трясина уже коснулась подбородка. Она как будто вспухала. Она поднималась, как подопревшее тесто.

– Может, он немцев боится? – спросил старик и наполовину вылез из окопчика. – Вытащить бы его, а?

– Рано… – остановил его Гонта. – Еще, может, закричит…

Шел дождь. Человек молчал. Неподалеку от него беззаботно покачивались кепочки егерей.

Болото подползло к губам, но человек не сопротивлялся, он глядел перед собой в ту сторону, где, скрытые кустами, невидимые для него, сидели партизаны.

Он умирал молча.

– Давай! – сказал Гонта. – Может, и вправду наш. В случае чего я прикрою. – И он взялся за рукоять пулемета.

Андреев и Назар юркнули в траву и через мгновение были уже в болоте.

Человек не видел их: он дышал, высоко запрокинув голову, стараясь хоть на несколько секунд отсрочить смерть. Андреев, отодвигая руками кочки и траву, шел к тонущему упорно, как к собственной судьбе. Да этот человек и был судьбой и Андреева, и Гонты, и многих других их товарищей…

2

– Я из концлагеря под Деснянском. Месяц назад гитлеровцы привезли туда две тысячи военнопленных. Они строят аэродром для авиации дальнего действия… С подземными ангарами и полной маскировкой… Собираются бомбить оттуда Москву…

Человек, которого Андреев и Назар вытащили из болота, говорил тихо, скрипучим, словно отсыревшим, голосом и то и дело откашливался. Худ он был до такой степени, что казался муляжом, созданным для демонстрации костной арматуры. Но стоял прямо и независимо.

В землянке было сумрачно. Свет осеннего дня проникал через небольшое, овальных очертаний автомобильное стекло, вставленное под бревенчатый накат. Командир отряда и заместитель сидели в полумраке у дощатого, грубо сколоченного стола.

– Откуда вы узнали, что в лесу партизаны? – спросил заместитель.

– Слухом земля полнится.

– Именно в этом лесу?

У заместителя, стриженного ежиком, были круглые бессонные птичьи глаза. Подтянутая, прямая фигура выдавала кадрового военного. Командир же, крупный, развалистый, с привычкой закладывать мясистую ладонь за портупею, служившую единственным знаком воинского отличия, явно был человеком штатским, человеком беседы, а не рапорта, быть может, в недавнем прошлом райкомовским работником или учителем.

И перед этими двумя, как перед судьями, стоял третий, покрытый свежей болотной грязью.

– Я знаю эти леса, – сказал человек из болота. – До войны служил здесь.

– Где здесь?

– Я бывший начальник Деснянского гарнизона Топорков.

Командир и заместитель переглянулись.

– Майор Топорков пал смертью храбрых при героической защите Деснянска, – звонко, с торжеством в голосе сказал заместитель. – Посмертно награжден орденом боевого Красного Знамени.

– Не знал, – безучастно ответил человек из болота. – Но я майор Топорков. А вы майор Стебнев. В марте сорок первого вы приезжали к нам из штаба округа читать лекцию о преимуществе отечественного стрелкового оружия над немецким.

Заместитель пристально всмотрелся в человека, стоявшего перед ним, и наконец поднялся.

– Минутку! – и вышел из землянки.

– Сядь, Топорков, а то от сквозняка упадешь, – сказал командир, едва за заместителем закрылась дверь. – Не серчай. Стебнев у меня человек дошлый. По контрразведке работает. Вот поешь!

С усилием повернув свое могучее шестипудовое тело, он достал из дощатого ящичка в углу землянки ржаную полбуханку, несколько печеных картофелин и зеленую бутылку, заткнутую кукурузным початком. Выставил всю эту снедь на стол и налил сизый самогон в кружку.

– Выпей, майор, и закуси.

Человек выпил, взял картофелину и стал медленно, безучастно жевать, как будто исполнял тяжелую, ненужную, но обязательную работу.

Командир смотрел, как по-старчески, кругообразно движутся его челюсти. Неизвестно, почему он поверил этому человеку. Может быть, полагался на чутье. Может быть, он уже знал таких людей – выжженных войной, не побоявшихся взять на себя за эти полтора года столько, что иному и века не хватит.

– Ешь, – повторил он басовито и добавил потише, как будто стесняясь своего сочного голоса: – Теперь и о себе думать надо. Слава богу, живой!

Пришлый направил на командира свой сверлящий взгляд.

– За мой побег в бараке каждого пятого должны расстрелять, – сказал он. – Всего двадцать человек. Ребята знали и согласились. Так что я чужой жизнью живу. За всех... За двадцать!..

Командир, вздохнув, отвернулся к окну.

– Да! Насмотрелись мы смертей... Я вот в мирное время оперу «Мадам Баттерфляй» любил, – сказал он негромко. – Переживал... за ее страдания. А теперь думаю: чем меня после войны расшевелишь?..

Человек из болота отодвинул кружку. От еды и от выпитого его впалые щеки пошли алыми пятнами.

– Оружия нам! – хрипло сказал он. – Мы в пленау, во мы в том не повинны. Оружия нам! Подпольный комитет готовит восстание. Мы весь этот аэродром уничтожим, командир! Оружия нам!

Долгие часы лесных скитаний он нес эту мысль об оружии и теперь, казалось, боялся ее потерять, боялся поддаться покою и теплу.

Командир продолжал смотреть в окно.

А там, в центре партизанского лагеря, возле коновязи, щуплый партизан в длинной складчатой шинели с отвисшим хлястиком стриг машинкой товарища, усадив его на алюминиевый ящик из-под немецких мин.

«Клиент», здоровенный парень с маленькой, словно бы лишенной затылка, головой и с красными ладонями-клешнями, морщился и ругал парикмахера:

– Черт, ну и скребешь, как корова языком...

– Дождик, – бойко оправдывался тот. – Мокрый волос, он как спираль Бруно, жесткий и вьющий... И машинка дореволюционная... «Коржет»... Сами обещали трофеиную «американку». Мне бы фирмы «Брессайн»!

– Трофеиную! Он тебя так пулями обстрижет... Ой! Баранов тебе стричь, Беркович! – дернулся парень.

– А я что делаю, Степан? – спросил парикмахер. И не успел парень вникнуть в смысл этих слов – только лоб нахмурил, соображая, – как за спиной Берковича вырос строгий, тугозатянутый в талии заместитель командира отряда Стебнев.

– Беркович, к командиру!

3

Заросший щетиной, тощий – кости под кожей, словно расчалки, – человек повернулся к Берковичу. Профессиональным взглядом парикмахер отметил пучки коротких белых волос, которые проросли на плохо обритой голове.

Позади парикмахера встал Стебнев.

– Беркович, ты в Деснянске майора Топоркова знал? – спросил командир.

– Так точно... Стригся лично у меня. Фигура! Пользовался одеколоном «Северное сияние».

И парикмахер снова встретился взглядом со странным, оборванным и грязным человеком. Какие пустые, выцветшие, нездешние были у него глаза!

Парикмахер смолк. Он ощущал подтекст всей этой сцены, но не мог его понять. Его восприятие жизни было бесхитростным и ясным, как стрижка «под ноль».

– С этим человеком знаком?

Беркович пожал плечами.

– Можешь идти!

Парикмахер медленно поднялся по ступенькам. И обернулся.

Человек сидел за столом, склонив голову, беспомощно открыв змейку шейных позвонков. Парикмахер подошел к нему и остановился, словно бы изучая острый, резко очерченный затылок и созвездие темных родинок на шее.

– Товарищ майор! – позвал он неуверенно, но затем уже громко и обрадованно повторил: – Товарищ майор!

Человек поднял голову, но не обернулся.

– Да что же вы не сказали? – спросил парикмахер. – Да я бы по родинкам всегда узнал... Ой, война! Ай, война! Сказано ведь: «Слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите...» Ведь вы ж темный волос имели, товарищ майор. Вы ж солидный были брюнет...

– Оружия нам, – проскрипел Топорков, не глядя на парикмахера. – Оружия нам!..

– Можете идти, Беркович, – коротко бросил Стебнев.

– У вас есть оружие? Лишнее оружие?.. Ребята готовы, ждут. Охрану мы сомнем, но у них поблизости воинская часть. Без оружия нас перестрелят взвод автоматчиков... Ни один самолет не вылетит с этого аэродрома!.. Ни один, никогда! – бессвязно говорил майор Топорков, и щеки его рдели, как уголья. – Надо только доставить оружие и взрывчатку к карьеру, где мы добываем гальку. Охрана там несильная. Если ударит группа из пяти-шести партизан...

– Оружие у нас есть, сидим на подготовленной базе, – сказал командир без особого энтузиазма и развернул карту. Среди зелени болот и лесов крохотной темной точкой значился на ней Деснянск. – А как доставить?

– Обоз, – сказал Топорков.

Командир и заместитель переглянулись.

– Нет, сейчас это невозможно.

– В лагере не могут ждать!

– Ты не кричи, майор... У всех нервы... Двинул бы к лагерю всем отрядом, да блокирован. Хорошо еще, что болота их держат... А небольшой обоз... Можно было бы попробовать... Но... Нет, не могу!

– Это окончательно?

Командир и заместитель молчали.

– Это все?

– Давай так, майор, – сказал командир и оттянул портупею своей крепкой ладонью. – Давай подождем группу Ванченко. Это мой начальник разведки. Вот он вернется, и я тебе скажу... Ну?

Топорков не отвечал. Он сидел недвижно, как укор, как живой памятник тем, кто отправил его искать путь к свободе.

4

Вечерело. Под навесом, где на самодельных, из жердей, койках лежали и сидели раненые, горел костер.

Молоденькая медсестра, склонившись над одной из коек, шептала:

– Ты потерпи... потерпи, Самусь. Вот кончится дождь, и пришлют за тобой самолет. А там госпиталь, там тебя вылечат...

Отблески огня скользили по меловому лицу раненого.

– Светло там и чисто, – продолжала медсестра. – И все в белом ходят, и всю ночь у нянечки огонек горит, и не спит она. Если что нужно – только руку к звонку протяни... И музыка звучит в наушниках...

У печи с большим котлом присел погреться старик Андреев. Отставил неразлучную снайперскую винтовочку, втянул ноздрями воздух, спросил у кубастенькой поварихи:

– Это с чем же кандер будет, со шкварками?

– Какие шкварки! – отвечала повариха. – Подвозу не стало. С комбижиrom!

– С комбижиру какой кандер!..

Топорков сидел, закутавшись в шинель, немой и молчаливый; как индийский вождь. Он наблюдал за жизнью партизанского лагеря, этой неведомой ему ранее родной и в то же время бесконечно далекой жизнью.

Партизанский лагерь – это слобода на колесах, где киевлянин чувствует себя так же вольно, как на Куреневке, а одессит – в Лузановке. В лагере есть все, что необходимо военному человеку в прочной казарменной жизни: кухня, то есть печь под навесом, сложенная из кирпичей, доставленных сюда с пепелища, столовая – два ряда лавок из жердей, медсанбат в землянке, где врач, в мирное время специализировавшийся на приватной гомеопатии, может сделать прямое переливание крови или удалить инородное тело из мягких частей, конюшня – загородка с крышей из полуобгоревшего брезента... и, конечно, баня, настоящая баня с паром и тем особого назначения котлом, что в просторечии именуется вошебойкой.

И весь этот обжитый, укрытый хвойной броней городок готов был в считанные часы опустеть и вновь возникнуть где-нибудь за сотню километров.

Выбритый, с иссиня-черными впалыми щеками, застывший под мелким дождем, Топорков сидел у землянки, ждал. Он был чужд лагерю, и лагерь был чужд ему. Топорков видел и слышал все, что происходило у партизан: он так же, как и они, ждал Ванченко, и в то же время он видел и слышал картины и звуки иного лагеря, того лагеря, где от столба к столбу тянутся колючая проволока, где скалят зубы овчарки, хорошо выдрессированные собаки, умеющие

отличать заключенного по запаху, где дистрофия накладывает на лица людей свою жестокую печать...

И как рефрен, назойливый, бредовый рефрен, звучали в его ушах слова: «Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter, vortreten!.. Fünfter, vortreten!.. Fünfter!.. Fünfter!..»

И в длинной шеренге людей каждый пятый делал шаг вперед...

Каждый пятый!..

...Топорков еще находился во власти изнурительного побега, явь была для него неотделима от галлюцинаций, и реальная жизнь чудилась продолжением какого-то жуткого, нескончаемого сна.

Он медленно прошел через лагерь. Толкнул дверь командирской землянки. На столе чадила плошка – классическая военная плошка из сплющенной гильзы. Свету она давала ровно столько, чтобы окружающие могли считать, что они сидят не в темноте.

– А-а, ты!.. – командир взглянул на часы. – Спать бы ложился.

– Почему отправка оружия зависит от возвращения Ванченко? – спросил Топорков.

Багроволицый командир пальцами снял с плошки нагар.

– Жена твоя, майор, жива. По радио сообщили с Большой земли. В Москве она.

Лицо Топоркова ничего не отразило, только дрогнул кадык. Майор с хрипом вобрал воздух:

– Видите, вы меня достаточно проверили. Так в чем дело с оружием для ребят? Можете, наконец, сказать мне об этом?

– Могу, – согласился командир. – Утечка информации у меня, майор. Понимаешь? Третью группу посылаю на задание. Две завалились... Немцы все выходы из болота... и явки... одну за другой перекрывают. Кого-то к нам забросили в отряд. Кого-то мы прошляпили, майор! Недаром «Абвергруппа-26» объявилась в этих местах... Враг среди нас, майор! А кто?..

– Значит, если Ванченко не вернется....

– ...То никакого оружия послать не могу. Попадет к немцам. И людей погублю. Вот так!

День второй. Обоз выходит

1

Рассвет был осенний – зябкий, осторожный. Чуть пропнула зубчатая кромка лесов.

Испуганно, как пробудившийся от чужой речи часовей, крикнула сойка. Короткой пулеметной очередью простучал по стволу дятел.

Топорков, одетый в длинную офицерскую шинель со споротыми петличками, сидел у догоравшего костра. Неподалеку, на бревне, примостился человек в каске. Он сосредоточенно укладывал в ящичек желтые бруски тола. Лицо его, горбоносое, удлиненное, словно бы состояло из одних вертикалей; оно казалось особенно узким под округлой каской, которая при общем наряде подрывника – длиннополом пальто, клетчатом шарфе и ботинках – выглядела чужеродным и несколько комичным дополнением.

– Слышишь, Бертолет, – окликнул подрывника рослый конюх (это его стриг недавно партизанский парикмахер). – Ты не позычишь мне пару тола грамм по сто?

– Это зачем же? – подняв голову, с интеллигентной мягкостью спросил тот, кого звали Бертолетом.

– Хочу, понимаешь, коней поприучать до шуму, – объяснил ездовой. – А то мне привели необстрелянных… – Широкое лицо конюха расплылось в улыбке при упоминании о лошадях. – Прошлым разом он как вдарит, а они от страха давай чомбура рвать. Так я их усех батовкой захомутал… Ледве устояли!

И тут конюх заметил за деревом молоденькую медсестру. Она стояла, прислонившись к дереву. Лицо ее, усталое и напряженное, разгладилось. Она поправила пилотку и провела ладонью по коротко стриженным волосам, как будто только здесь, в этом уголке лагеря, могла ощутить свое девичество и молодость…

Рослый партизан подмигнул Бертолету. На его простодушном лице появилась хитрая усмешка. Он очень хотел казаться проницательным, этот парень из отрядного обоза.

– Галка-то, глянь, снова смотрит, – прошептал он. – На тебя смотрит!..

Медсестра, поняв, что ее заметили, шагнула к Бертолету, поставила перед ним бикс – хромированную коробку для бинтов.

– Запаять сможете? – спросила она.

Бертолет осмотрел коробку:

– Попробую.

Галина еще немного постояла рядом с подрывником и не спеша направилась к своему «медсанбату». Походка ее была легкой, скользящей. И Бертолет, и конюх посмотрели вслед сестре, вот только майор остался безучастным и продолжал глядеть прямо в притухающие уголья.

– Я часто замечаю, стоит и смотрит. На тебя!.. Контуженная она…

И конюх Степан дружелюбно толкнул подрывника в бок:

– А ты это… не теряйся.

– Степан! – сказал Бертолет. – Я сейчас детонатор буду вставлять, так ты уди.

Но Степан не унимался:

– Красивая она, Галка… Вот только контуженная…

И вдруг улыбка сошла с его лица, он осекся и уставился в одну точку.

Бертолет, заметив беспокойство во взгляде Степана, тоже посмотрел в ту сторону. И медсестра Галина, и часовей у командирской землянки, и даже безучастный до того Топорков – все, повинуясь общей тревоге, напряженно смотрели в одну сторону.

По мокрой траве, по рыхлому песку шли четверо партизан, неся за углы плащ-палатку, в которой, тяжело провисая телом, лежал пятый. Позади, хромая, держа на отлете перевязанную руку, как большую, неожиданно обнаружившуюся ценность, плелся шестой. Лица партизан блестели от дождя и пота, дыхание было прерывистым.

Партизаны поворачивали вслед им голову, но никто не поднялся, не пошел им навстречу, чтобы помочь нести бесконечно тяжелую ношу. Это было только их право, их привилегия...

У землянки, где был «медсанбат», они остановились. Опустили на землю плащ-палатку. Медсестра Галина склонилась над лежавшим. Партизаны сняли шапки. Один из вернувшихся, веснушчатый, с дерзкими светлыми, словно бы хмельными, глазами, кивнул в сторону парня с перевязанной рукой:

– Займись, Галка... Шину бы ему... – и перевел взгляд на другого своего товарища. – Ты как, Миронов?

Миронов приставил к уху ладонь. В этом тридцатилетнем партизане чувствовалась профессиональная солдатская выправка. Рваная, измазанная болотной грязью шинель сидела на нем ладно, подчеркивая выпуклую, крепкую грудь. И карабин он держал не с партизанской небрежностью, а по-уставному, прикладом к ноге.

– К докторам пойдешь?

– Никак нет!.. – в свою очередь закричал Миронов. – Ничего!

Веснушчатый разведчик кивнул и, хмурясь, направился к командирской землянке. Но командир отряда, покачивая полным телом, сам шел навстречу.

– Ванченко убит, товарищ командир, – тихо доложил веснушчатый. – ... Возле горелого танка засаду устроили. Живьем хотели взять... Бойчук ранен, Миронов контужен.

– Что с явками, Левушкин? – спросил командир.

– Явки завалились... Предательство это! – выдохнул Левушкин. – Предательство!

Топорков, привстав, слушал. На лице его явственно отпечаталась гримаса боли.

2

– Ну вот видишь, майор, – сказал командир стоявшему в землянке Топоркову. – Не тебе рассказывать, что это значит – враг в отряде.

Топорков слушал. Он еще плотнее натянул на себя шинель, как будто озябнув от слов командира, но в движениях его появилась уверенность и в глазах пригас пронзительный блеск.

Командир и заместитель с участливой почтительностью смотрели на майора.

– Хорошо. Дайте мне автомат. Гранат, сколько унесу. И проведите через болото.

– Это глупость, – хмуро сказал Стебнев и прищурил птичьи глаза.

– Возможно. Но я уйду.

И, поправив шинель, клонясь вперед тощим длинным туловищем, майор вышел из землянки.

– Может быть, и уйдешь, – пробормотал командир. – Завтра!

Заместитель встревоженно посмотрел на него.

Пришел вечер, и вспыхнули партизанские костры, отбрасывая мельтешливые тени. Топорков по-прежнему сидел неподалеку от коновязи, и глаза его, глубоко ушедшие под лобные дуги, не отражали мятущегося пламени.

Никто не обращал на Топоркова внимания, в партизанском отряде привыкли к появлению с «той стороны», от немцев, молчаливых, странных людей и к внезапному их исчезновению. Излишнее любопытство здесь было бы неуместным.

Уютно и мирно пофыркивали лошади, хрустели сеном, звенели сбруей. У ближнего костра, хлопая ладошкой о ладошку, приплясывал неунывающий старичок Андреев, мрачный темнобровый Гонта подбрасывал в костер сучья. Медсестра Галина скользила легкой тенью

поодаль, бросая взгляды в ту сторону, где примостился подрывник со странным именем Бертолет.

Топорков видел их и слышал негромкие голоса, и хруст сена, и металлическое позвякивание, и треск.

Они жили. Окруженные врагом, загнанные в леса, встречаясь каждодневно с лишениями и смертью, они все-таки жили... Они приплясывали у костров, смеялись во весь голос...

А там, в двухстах километрах, под Деснянском... Топорков зажмурил глаза, и в ушах тут же раздался металлический, сухой голос: «Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!..»

Этот голос впился в него и тряс, колыхал иссущенное, легкое тело...

— Товарищ гражданин! — заорал в самое ухо часовой, продолжая трясти Топоркова за плечо. — Никак не докличешься!.. Вас до командира просят!

— Слушай, майор! — подняв массивную голову, сказал командир. — Обоз с оружием мы вышлем! Есть тут одна идея...

3

Ритмично стучали в полумраке два молотка. Под навесом, где на стенах висели немецкие шмайссеры и карабины и аккуратными штабелями выселись цинковые коробки с патронами, Топорков и заместитель командира Стебнев заколачивали большие ящики.

— Ты все-таки будь осторожен, майор, — вгоняя гвоздь за гвоздем, говорил Стебнев. — Связь у него налажена неплохо. Рации, конечно, никакой не может быть, но доносит быстро...

— «Почта»? — спросил Топорков.

— Вероятнее всего. И где-то совсем близко... Так что об обозе они, наверное, узнают уже завтра или послезавтра... — Стебнев подхватил ящик, вынес его из склада под деревья, где стояли четыре пароконные телеги. Дно телег было выстлано сеном.

Стебнев поставил ящик на телегу, аккуратно уложил его.

— Думаю, предатель напросится вместе с обозом, — тихо сказал Стебнев, и круглые его глаза хитро прищурились. — Уж больно лакомый кусок, этот обоз. В заслугу причислится.

— Вот как?

Под навес, пригнувшись, вошел командир.

— Ну что ж! Все идет как надо! Добровольцы нашлись, майор! Парни знают, что идут на большой риск. Сказано им — везти оружие в Кочетовский отряд, соседям, за речку Сночь. Сказано, что ты оттуда. Что по званию майор... — командир посмотрел на большие мозеровские часы с треснутым стеклом, ремешок которых впился в его мясистую руку. — Кстати, вот что... — Он снял часы и протянул их Топоркову: — Прими. Пригодятся.

— Спасибо.

— Заместителем твоим пойдет Гонта. Толковый мужик.

— Он знает?

— Нет.

Командир вздохнул, отчего выпуклая шарообразная его грудь мощно натянула портупею.

— Пойдем, представлю тебя ребятам, майор. И смотри в оба!..

День третий. Записка в «почтовом ящике»

1

В тумане меж деревьев двигалась какая-то группа. Неясные, зыбкие тени словно бы проецировались на белый экран. Чуть слышно поскрипывали колеса, и сочно, свежо чавкали, увязая в мокрую землю, копыта и сапоги: чвак, чвак, чвак...

Впереди шел веснушчатый разведчик Левушкин, шел, настороженно прислушиваясь, указывая обозу путь по каким-то лишь ему одному известным приметам.

У первой телеги – груз укрыт под слоем сена, но видно по колесам, что тяжел, – шел Гонта. Из-под сена, как указательный палец, выглядывал ствол трофейного МГ. Если бы не этот пулемет, картина была бы мирной, почти идиллической: мужички в извозе...

Следом – вторая повозка, с Мироновым. Этот шел мелкими шажками, бодро, и пуговицы на его шинели сияли, и подворотничок был подшит чистый, будто собрался сверхсрочник в субботнюю увольнительную.

У третьей повозки – Бертолет с парикмахером Берковичем. Эти шли задумчивые, ссутулившись, один за другим, будто несли, как бревно, одну общую тяжкую ношу.

Четвертая телега – Степана – запряжена трофейными битюгами. За телегой, поводьями к задку, – две заводные лошадки.

По отстав метров на пятьдесят от обоза, шел арьергард – Андреев и Топорков. У Андреева за спиной – винтовка прикладом кверху. Брезентовый капюшон приоткрыт, и выставлено к туману, как радар, хрящеватое стариковское ухо.

Скрип-скрип, чвак-чвак...

Топорков поправил за спиной автомат, осмотрел серые спины, серые крупы лошадей. Вот и тронулись, вот и вышел обоз. Четыре телеги. Семеро партизан. В сущности говоря, семеро незнакомых ему людей. И один из них, возможно, враг...

У опушек, где туман распадался на клочья, выросли две фигуры – словно бы раздвоились темные стволы осин. Помахали руками, указывая путь. Обоз прошел мимо и растаял в тумане.

Двое дозорных партизан посмотрели вслед, закурили. Тот, что был постарше, озабоченно покачал головой.

– Думаешь, не дойти? – спросил молодой.

Старший ничего не ответил, только смотрел в туман. И лицо у него было такое, как будто проводил товарищей в последний путь.

2

В частое постукивание колесных ободьев о корни, приглушенные удары копыт о песок вливались, обтекая молчаливого и одинокого майора, тихие партизанские разговоры.

– Завидую, что ты ученый! – говорил Степан, по отстав от своих битюгов и обратив к Бертолету широкое, кирпичного цвета лицо. – Сильно завидую... Вот ты, например, чего окончил?

– Вообще-то в университете учился, – серьезно ответил Бертолет. – Окончил филологический... а потом потянуло на физико-математический.

– Ух ты! – сказал Степан. – А вот, скажем, дроби знаешь?

– Знаю.

– И эту... физику?

– Немного.

Бертолет замялся. Он, как и все люди, увлеченные сложной внутренней работой, отличался в обращении особой, несколько наивной прямотой, и это, очевидно, нравилось простаку ездовому, с которым обычно разговаривали насмешливо. Степан вглядывался в тонконосое, удлиненное лицо собеседника с той внимательностью и увлеченностью, с какой мальчишка смотрит в калейдоскоп, стараясь догадаться, как это из простых и понятных элементов возникает непостижимая сложность.

– А чего ты каску носишь? – спросил он. – Это ж два кило железа. Я б лучше обоймов насовал по карманам.

– Как тебе сказать? – Бертолет улыбнулся. – Вот был такой Дон Кихот, он медный таз носил, а я – каску… По правде говоря, я больше всего боюсь ранения в голову.

– А чего?

– Мозг! – Бертолет постучал по каске. – Здесь все, в этом сером веществе. Все наши знания, чувства, память. Весь мир. Это самое важное и беззащитное, что есть в человеке.

– Скажи! – Степан покачал головой, затем, сняв шапку, провел ладонью по волосам, словно бы нашупывая что-то, ранее ему неизвестное. – А шо? Надо будет завести каску!..

– Тебе-то зачем? – раздался голос Левушкина. – Чего тебе опасаться? У тебя самое ценное не здесь, ты ж наездник!

В своих мягких брезентовых сапогах разведчик Левушкин неслышно возник рядом, взял в мешке на возу сухарь, сунул за щеку.

– А по-моему, – сказал он Бертолету, – кто боится пули, тот не боец. Так вот, француз! – И растворился в соснячке, будто не появлялся.

– Ну, скаженный! – восхитился Степан.

Топорков позавидовал молодости и энергии разведчика. Каждый шаг давался майору с трудом. А хуже всего – это чувство одиночества среди людей, близких тебе по духу, но отдаленных раздельно прожитой жизнью.

Он шел, смотрел, слушал, и длинные худые ноги его отшагивали ритмично, как косой землемерный аршин.

Гонта, подойдя к бывалому солдату Миронову, советовался, глядя исподлобья:

– Сколько сдюжим по песку, старшина?

– Да километров с тридцать пять. Мы в окружении, правда, по пятьдесят давали, так то бегучи… Колеса бы вечером надо подмазать. Я баночку трофейного тавота прихватил.

– Добре.

– И еще: надо бы «феньки» с возов на руки раздать. Если наткнемся на немца, сразу удар – и отход. Они гранатного удара не любят, теряются.

– Добре.

Умелый, ладный был партизан Миронов, бывший старшина-сверхсрочник. Топорков позавидовал его хозяйственной предусмотрительности, которая позволила старшине близко сойтись с полесскими партизанами.

3

Далеко за полдень телеги сгрудились возле старой, с засохшими когтистыми ветвями вербы. Тонко звенел неподалеку родник, и лошади, склонившись к воде и всхрапывая раздутыми ноздрями, пили, пили…

Привалившись к телеге, Топорков наблюдал за партизанами. Конюх Степан хлопал лошадей по холкам, разглаживал спутавшиеся гривы. Бертолет, усевшись на причудливой коряге, силился стянуть с ноги сапог. Левушкин рассказывал Миронову довоенный анекдот о враче и старушке. Они сидели под самой веткой, а над их головами зияло чернотой дупло.

— Товарищ майор! — встревоженно сказал Беркович, выбирайсь из кустов. — Здесь кто-то был... недавно!

Топорков шагнул навстречу Берковичу, увидел разбросанные по земле рыжие бинты.

— Это мы... — пояснил Левушкин. — Здесь Ванченко умер.

Протрещали кусты, и последняя телега скрылась в лесу, распрямились ветви. Топорков остался на поляне под старой ветлой один. Он долго всматривался в деревья, кусты. Снова бросил взгляд на обгоревшее дерево с дуплом, на корягу, на тяжелый, вросший в землю валун...

Кусты раздвинулись, и к ветле вышел Гонта.

— Ты чего, майор? — спросил он.

— Я сейчас... Догоню!

Гонта недоуменно посмотрел на Топоркова, двинул темными бровями и исчез в лесу. Но, отойдя недалеко, замедлил шаг, остановился и, обернувшись к поляне, стал вслушиваться.

А Топорков тем временем подошел к ветле, нашупал узкой длиннопалой кистью темный провал дупла. Извлек оттуда горсть старых, слежавшихся листьев. Неторопливо разжал пальцы, рассыпая листву. Глаза его прыгали с одного предмета на другой, словно он что-то искал.

Ногой отвалил корягу и долго смотрел на расположившиеся в разные стороны жучков. Подойдя к камню, Топорков внимательно со всех сторон осмотрел его, но и здесь ничего не нашел. Майор тяжело вздохнул, ссугутился, бросив вниз ладони, будто прикрепленные к тонким запястьям. Сейчас было особенно заметно, как он устал и как тяжело его истощавшим в лагере мышцам нести груз крепких еще и жестких костей.

Длинная повытертая шинель висела на майоре, как на распялке. Он пожал плечами и отправился догонять обоз. Когда майор спешил, то клонился узким торсом, словно бы падая и едва поспевая подставлять под рвущееся вперед тело тонкие ноги.

Гонта внезапно вышел из кустов:

— Ты что там потерял, майор?

— Ничего... Осень... Тихо...

Удивленно и недоверчиво блеснули прищуренные запорожские глаза Гонты под густыми бровями. Но это был мгновенный блеск.

— Ясно, — сказал Гонта.

4

Крутились, поскрипывая, колеса. А рядом с колесами отшагивали, с подскоком, большие и грубые яловые сапоги Бертолета. Каждое движение доставляло подрывнику немало страданий — это было видно по его лицу, по прыгающей походке.

— Скажите, а почему вас зовут Бертолетом?

Подрывник удивленно посмотрел из-под каски на майора. Он не ожидал, что этот молчаливый, мрачный человек может проявить интерес к его особе.

— Кличка. Из-за первой нашей мины. Не было взрывчатки, а мне удалось достать бертолетову соль... А может, из-за французской фамилии.

— Вот как! Вы француз?

Бертолет улыбнулся:

— Француз... Если Пушкин — абиссинец, а Лермонтов — шотландец. Предки, говорят, гугеноты были — переселились когда-то, лет двести назад, в Россию. Потому моя фамилия Вилло.

— И давно вы в отряде?

— Не очень... Мне здесь нравится, — неожиданно улыбнулся подрывник.

— А портянки вы так и не научились накручивать, Вилло, — сказал Топорков.

Лес был осиновый – низкорослый и редкий. Солнце пробило облачную муть и плавало в небе, как яичный желток.

Обоз то и дело пересекал уютные поляны, поросшие высокой, не по-осеннему сочной зеленью. Казалось, люди и лошади плывут по зеленым озерам.

Теперь в арьергарде, рядом с Андреевым и Топорковым, упруго шагал Миронов.

– Трава-то, трава! – восхищенно говорил старик. – Эх, косу б намантачил и подобрал бы всю, как есть... Последняя!

– Ну даешь! – рассмеялся Миронов.

– Ты солдат, тебе не понять... Солдат на всем готовом.

– Это да, – согласился Миронов. – Мне-то служба всегда нравилась. Порядок в ней!

– А в партизаны как попал? – спросил майор.

– Куда было из окружения? Не под Гитлера же!

Левушкин, пригибаясь, пробежал через луг, усыпанный клочьями наползающего откуда-то с болот вечернего тумана. Нырнул в низкорослый ольховник. Там сквозь редкую ржавую листву просматривалось странное громоздкое сооружение, лишенное привычных глазу форм, неопределенного цвета.

– Это танк, – сказал Гонта Топоркову. – Здесь наши, когда выходят из болота, всегда дноюют.

Левушкин взобрался на танк и оттуда помахал рукой: мол, все в порядке. Обоз тронулся к ольховнику.

– Надо бы дальше двигаться, – сказал Гонта майору. – Потемнущее. Ночь – это и есть партизанский день.

– Будем отдыхать, – ответил майор.

– Я к тому говорю, что здесь немцы могут засаду устроить, – повторил Гонта настойчиво. – Ванченко-то здесь ранило...

– Вот и обеспечьте охранение!

Голос у майора был негромкий, ровный, без каких-либо командирских интонаций, однако такому голосу невозможно было не подчиниться.

Гонта пожал обтянутыми кожаной курткой покатыми мощными плечами, брови его, сросшиеся и всегда нахмуренные, сцепились еще плотнее.

5

Телеги расположились неподалеку от подбитого танка.

Когда-то это был скоростной БТ-7 – красивая, легкая машина, из тех, что москвичи привыкли видеть на довоенных парадах.

В один из летних дней сорок первого года отчаянно выбежал этот танк навстречу иной военной эпохе – эпохе двухвершковой лобовой брони и кумулятивных снарядов. Сильным взрывом сорвало башенку и бросило на корму. Сквозь оплавленную дыру в переднем скосе была видна выгоревшая внутренность танка. Одна из гусениц лежала на земле, и сквозь траки тянулись к небу стебли мяты и белоуса.

Топорков, холодный, сдержаный Топорков повел себя странно: прижался к шершавой броне и погладил ее ладонью. Танк давно выстыл, он утерял под дождями и ветром сложный, живой запах машины, но Топорков, стоя рядом, раздул ноздри и вдохнул воздух.

Обернувшись, майор встретился глазами с подрывником в каске и устыдился своего порыва, нахмурился:

– С ними я в Испании воевал, – сказал он.

Не каждый мог понять то, что переживал он, Топорков. Но Миронов, старшина-сверхсрочник, служака с белым подворотничком, понял. Он подошел к танку, сказал:

— Молодость это и моя тоже, товарищ майор. Жалко!.. — и добавил потише: — Мы здесь только двое кадровых. Так что полагайтесь, я дисциплину соображаю.

Наступила ночь. Левушкин, лежа на плащ-палатке и покусывая травинку, спрашивал у Берковича с ленивой, немного кокетливой самоуверенностью человека, который и вблизи врага способен сохранять спокойствие и думать о постороннем.

— Скажи, парикмахер, у тебя карандашика, случайно, нет?

— Нет. А зачем тебе? Почта не работает.

— Стишки сочинил. Про любовь. Хочу записать. Как ты думаешь, ничего? «Пусть сердце живей бьется, пусть в жилах льется кровь, живи, пока живется, да здравствует любовь!»

— Вроде где-то слышал. Сам сочинил?

— А ничего стишки?

— Не знаю, — ответил Беркович. — Как ты думаешь, мог я стихами интересоваться, имея на руках пять душ детей? — И добавил: — Для Галки стихи?

— Ну уж! — насупился разведчик. — Слушай, а ты чего с нами напросился?

— Мы же в Кочетовский отряд, так это мимо Чернокоровичей, — сказал парикмахер. — А в Чернокоровичах дом тещи. Может, она знает, что стало с Маней и детьми.

Левушкин присвистнул:

— Думаешь, прогуляемся и вернемся?

— Нет, — покачал головой Беркович. — Не думаю. Но надоело стричь ваши головы...

А Топорков сидел у маленького, осторожного костерка и рассматривал протертую на сгибах немецкую карту. Странно было видеть на ней транскрибированные на чужой язык, длинные, как воинские эшелоны, названия: «Kotschetoffka», «Tschiernokoroifitschi»... Изучив карту, Топорков достал из планшетки карандаш, блокнотик и вывел на листке несколько слов.

6

Андреев был в охранении; в своем дождевичке он стоял под деревом, как охотник в засаде, ничем не выдавая себя.

Хрустнула ветка, затрещала сойка — будто кто-то принял ломать сосенку, — и Андреев насторожился, приподнял винтовку. Заметил фигуру, молодо и легко идущую через лес. Седые щетки бровей у Андреева поползли вверх.

На опушку вышла медсестра Галина. В распахнутом ватнике, с плотно набитой противогазной сумкой через плечо она проскочила мимо Андреева, направляясь к танку. Старик покачал головой.

Майор оторвался от блокнота. Над ним стояла медсестра Галина. Блики пламени скользили по ее лицу.

Майор встал, одернул шинель. Бертолет, который тщетно пытался справиться с портянками, испуганно и радостно смотрел на медсестру.

— Я решила пойти с вами, — выпалила Галина заученно. — Отпросилась. Без медицинской помощи вам не обойтись. И на разведку мне легче!

— Это совершенно невозможно, — сухо сказал Топорков.

Он стоял тонкий и прямой, как гвоздь, вбитый в пригород. Непонятный он был Галине человек, замкнутый внутри на какой-то хитрый замочек, — не то что остальные партизаны.

Галина в растерянности перевела взгляд на товарищей. Бертолет склонил голову, скрылся за стальным ободом каски. Левушкин, ухмыляясь, принял постругивать финским ножом палочку, а Степан — тот достал гигантских размеров парашютного шелка тряпицу и высморкался, отчего получился звук совершенно неожиданный — как если бы вдруг просолировал тромбон. Миронов застыл в ожидании.

– Товарищ Топорков! – дрогнула Галина. – Я вам обузой не буду! – И перевела взгляд на стертые ноги Бертолета, как-то безжизненно лежавшие на траве.

Нет ничего более жалостного, чем вид человека в каске и при оружии, открывшего пергаментную слабость ног. Разувшись, солдат как бы лишается ореола военной неуязвимости и переводит себя в слабое сословие штатских.

– Это решительно невозможно, – повторил Топорков.

Глаза у Галины вспыхнули, и светлое, не отягощенное морщинками лицо исказила гримаса. О, это была партизанская девица, из незнакомого майору племени.

– Эх, товарищ майор, – сказала Галина. – Не хотите подвергать меня риску? А откуда вы знаете, что нам можно и что нельзя? За аусвайсами к немецким офицерам можно ходить, да? И на явки?.. Я в отряд девчонкой пришла: здесь теперь вся моя жизнь, и молодость, и старость, все... Буду с вами! Уцелеем – хорошо, а нет – вы не ответчик. А свое дело я буду здесь делать, помогать вам буду. – От волнения она начала заикаться: и давний бомбовый удар, нанесший контузию хрупкому, стройному телу, долетел вдруг до Топоркова – пахнуло гарью и болью.

Слиняло ироническое выражение на лице Левушкина, он во все глаза смотрел на медсестру. Замер и Бертолет.

Топорков пожевал сухими губами и ушел во мрак, к Гонте, который пристроился на сене поодаль от танка.

Пулеметчик набивал ленту патронами, которые он, как семечки, доставал из необъятных карманов кожаной куртки. Действовал он ловко, на ощупь.

– Скажите, Гонта, вас удивило бы, если бы в группе оказалась медсестра? – спросил майор.

– Галка? Что, пришла? Тю, контуженая! Из-за взрывника этого.

И Гонта неодобрительно покачал своей крепкой темноволосой головой.

Когда Топорков вернулся, медсестра, склонившись над Бертолетом, перевязывала ему ногу. Рядом стояла раскрытая сумка противогаза и склянка с риванолом.

Галина встревоженно смотрела на Топоркова.

Две несмелые морщинки тронули узкие губы майора у самых их уголков. Он словно бы заново осваивал нехитрую мимику улыбки.

– Что вы так смотрите? – спросил майор. – Живых мумий не видели?.. Какое вам выдать оружие? Автомат?

7

Низкорослые партизанские лошадки с бочкообразными боками протащили первую телегу мимо танка.

Было еще сумрачно. Полосы тумана плавали между черными кустами, небо обозначилось синевой. Проскрежетали ржавыми голосами злодейки-сойки.

– Пойдете с первой телегой, – сказал Топорков Гонте.

– А вы?

– Буду в прикрытии, сзади.

Вновь недоверчиво сверкнули прищуренные глаза Гонты.

– Противника надо ждать спереду, – и Гонта, не дожидаясь ответа, ушел.

Топорков проводил взглядом обоз. Весело махнули хвостами две заводные лошадки, привязанные к последней телеге, и Топорков остался один.

Он не спеша прошелся вокруг танка, цепко осматривая землю и кустарник, как будто снова что-то искал. Длинный, на длинных ногах, со склоненной головой, он был похож на идущего за плугом грача.

Ничего не найдя на земле, майор приступил к танку.

Он оглядел его беглым и точным глазом военного человека, отмечая малейшие неровности и углубления: визирные щели, края оплавленной дыры в лобовой части, заглянул и под крылья, и под ленивцы.

Затем взгляд его упал на гусеницу, лежавшую рядом с танком.

Гусеница как гусеница – гигантская ржавая браслетка, обреченная истлевать в земле. Но майору бросились в глаза красные точки жучков-«солдатиков» на последнем траке. То ли они выползли погреться на вялом утреннем солнышке, то ли были кем-то потревожены.

Майор поднял трак. И не увидел отшлифованной тяжестью глянцевой поверхности, как это бывает, когда поднимаешь лежач-камень: земля здесь была взрыта.

Смахнув верхний слой земли, Топорков увидел совсем новенькую стрелянную гильзу от противотанкового ружья. Оглянувшись по сторонам, он бережно, как экскгуматор, боящийся чумной заразы, взял гильзу в руки и вытряхнул оттуда свернутый в трубочку лист бумаги. Прочитал несколько коротких неровных строчек: «Оч. важно! Обоз идет в Кочетов, п. о. 4 тел. 47 ящ. с ор. боепр., 8 бойцов (1 жен.). Команд, майор из Кочет, п. о. Через Камышов перепр. у 14 корд. Федор».

Майор скатал листок в трубочку и вложил в гильзу, все это присыпал землей и укрыл тяжелым траком. Затем он тщательно вытер руки, оправил шинель, огляделся еще раз и отправился догонять далеко ушедшний вперед обоз.

Топорков спешил. Он клонился прямым торсом, он все падал и не мог упасть: вовремя подставляли себя худые, длинные ноги и отмеряли метр за метром. Было в этом его движении что-то бесстрастное, размеренное, как у машины, и только хриплое, с канареечным подсвистом дыхание говорило о том, что не все ладится у майора с многочисленными шатунами и шестерenkами, работающими внутри.

День четвертый. «Все идет хорошо»

1

На пригорке Гонта поднял руку, и обоз остановился. Гонта наконец заметил Топоркова, и в глазах его, упрытанных под трехнакатные брови, погас тревожный блеск.

Обоз остановился. Топорков прошел вперед.

Гонта поднял цейсовский восьмикратный бинокль. На лугу, уже очистившемся от клю-
чев тумана, светлела петлявая проселочная дорога. По ней ползли два грузовика с солдатами.
Отсюда, с пригорка, даже усиленные цейсовской оптикой, они казались не больше коробков.

Гонта, который, как и каждый партизан, был воспитан ближним боем, смотрел на эти
грузовики спокойно.

– Вот, майор, – он протянул бинокль Топоркову, – видать, снова егеря. «Эдельвейсы». Понаперли их сюда с Кавказа на переформирование. Теперь на нашем брате будут трениро-
ваться.

– Егера хорошо действуют в лесах, – бесстрастно сказал майор, рассматривая грузовики.

– Радости – полный воз, – сказал Гонта. – Нам здесь дорогу надо переходить.

– Значит, будем переходить.

Гонта в упор посмотрел на Топоркова:

– Ночью-то перешли бы без риска… Ну ладно!

2

За лугом вновь начался сосняк, и партизаны было повеселились, но тут сойки пропрещали
тревогу.

Андреев, откинув капюшон, обнажил жилистую шею, задрал кверху бороденку, наставил
круглое ухо. Послыпалось тарахтение, будто мальчишка вел палкой по штакетнику. Это был
чуждый лесу механический звук.

Левушкин свистнул. И лошаденки под окрики партизан рванули в сторону от дороги, в
соснячок.

Галина с автоматом в руке, напрягая крепкие икры, пробежала к старым окопам, уже
поросшим по брустверу молочаем. Сползла, ссыпая песок.

И тут же кто-то рядом приглушенно чихнул и произнес звонким, радостным шепотком:

– На здоровычко вам! – и ответил самому себе: – Спасибочки!

После чего Левушкин сильной рукой пригнулся Галину к земле, спрятал ее за бруствер.

– «Энсэушки»! – шепнул Левушкин. Он сидел у бруствера, в частоколе воткнутых в песок
сосновых веточек, и смотрел на обширную, поросшую вереском поляну, куда вливалась лесная
дорога.

Тарахтение нарастало.

– Четырехтактные, – сказал Левушкин почтительно и сплюнул. – У них на каждой
машине ручняк.

За поляной, на взгорке, серыми мышиными клубками прошмыгнули шесть мотоциклов
с солдатами. Тарахтение метнулось за ними хвостом и стало стихать.

Левушкин следил за мотоциклами и в то же время видел рядом лицо Галины, полуот-
крытые ее губы и ощущал щекой и ухом шелестящее дыхание.

Он не снял руку с плеча медсестры, а, напротив, сжал пальцы и повернулся к ней. В захмелевших, дерзких его глазах отразился в перевернутом облике дурманный осенний мирок – сухой окоп, мягкий пружинистый вереск с фиолетовой пеной цветов и густой полог хвои.

– Будешь приставать – застрелю, – сказала Галина, глядя в глаза Левушкину и яростно отвергая отраженные его зрачками соблазны.

– Дуреха, – прошептал Левушкин чужим, добрым голосом. – Ну чего увязалась за ним? Ты девка простая, ты моего поля ягода. Я человек веселый, надежный, я тебя защищу хоть от фрицев, а хоть от своих... И если войну переживем – не брошу, вот ей-богу! А с ним-то как? Он человек умственного полета. Он-то и сейчас сторонится тебя. А ты тянешься... Дальше-то как будет?

Галина перевела дыхание. Метко упали последние слова Левушкина, прямо на живой нерв. Но Галя была девочка крепкая, из донбасского поселка, из семьи с двенадцатью ртами и пьющим отцом.

– Ладно, – сказала она. – Верно ты говоришь. Ты вон какой ловкий, сообразительный. Все умеешь... А он нет. Он внутри себя живет, его обидеть просто. Я ему нужна. Вон ноги стер... – И она всхлипнула, сразив себя этим последним аргументом.

– Ты о себе подумай! – бросил Левушкин.

– А я думаю. Я, может, впервые полюбила. Может, это все доброе, что мне отведено. И она полезла из окопа.

– Тю, контуженая, – тусклым голосом бросил вслед Левушкин.

Соснячок ожидал. Раздавались голоса. Телеги неторопливо покатились к дороге.

Левушкин мягко шел по лесу. Даже опавшие листья не шуршали у него под ногами. Лицо у разведчика было полынным, а глаза злые.

Его нагнал Миронов. Присвистнул, подзывая разведчика.

– Чего тебе, старина? – спросил Левушкин.

– Слушай, ты к Галине не приставай, ладно?

– Тебе что? Подглядывать приставлен?

– Не приставлен... А ты отряд не порушай. Галка – она для нас особая дивчина. Ее беречь надо.

– Особая! – ухмыльнулся разведчик. – За Бертолетом вон как прибежала!

– Это уж ее выбор, – спокойно сказал Миронов.

– Больно ты справедливый, солдатик, – сказал Левушкин. – Дать бы тебе по уху, да злость надо на немца беречь.

Топорков слышал этот разговор и усмехнулся одними глазами. Все в группе шло как нужно, вмешательства не требовалось, это был отрегулированный, самоналаживающийся организм. Лишь мрачный Гонта беспокоил майора.

3

Внизу поблескивала речушка, вся в тугих, масляных разводьях струй. Вода была такой холодно-прозрачной, что при взгляде на нее ломило зубы. И плыли по ней седые узкие листья тальника. За рекой широко расстидались сизо-зеленые заросли ивняка. Картина была мирная, легкая, акварельная.

Подошел, хлопая полами длинной шинели, Топорков. Развернул потрепанную трофейную карту.

– Надо бы идти берегом до четырнадцатого кордона, – Гонта ткнул пальцем в карту. – Там мосточек есть. Хлипкий, но телеги выдержит.

– Ясно, – сказал майор. – Однако переправляться будем здесь. Вброд.

– Дно топкое, – терпеливо, но уже с нотками плохо сдерживаемого раздражения пояснил Гонта. – Если застукают на переправе – хана. Мотоциклетки шныряют, видел?

– Видел.

Гонта повернулся к Миронову и Левушкину, ища поддержки. Но разведчик пожал плечами, не желая ввязываться в спор начальства, а бывший старшина-сверхсрочник пробормотал:

– Конечно, с точки зрения военной лучше у четырнадцатого кордона… Но товарищу майору виднее.

– Виднее! – буркнул Гонта.

Топорков уложил карту в планшетку.

– Ну все. Гонта, возьмите пулемет и выберите позицию над рекой.

– Так, – крякнул тот, пряча глаза под брови. И не спеша, вразвалочку, как волжский крючник, пошел к телегам. Взвалил на широкую спину свой МГ, окликнул Берковича и Левушкина и зашагал к кустарнику.

Гонта установил пулемет над излучиной реки дулом к дороге. Беркович помог заправить ленту.

– Это правда, что ты до войны знал майора? – спросил Гонта.

– Так точно! Стригся лично у меня…

– Ну и что за мужик?

– Толковый, культурный командир. Стригся под ежик. Одеколон предпочитал «Северное сияние»…

Гонта с сожалением посмотрел на парикмахера:

– Так, так… «Северное сияние»… Подробная характеристика.

И вдруг он насторожился, замер. Издалека сюда докатился веселый треск.

Степан подогнал первую подводу к воде. Но лошади попятались, вскидывая головы и бешено кося глазами.

– Ну-но, Маруська, Фердинанд, но! – ревел Степан.

Но лошади не шли.

– Щас, товарищ майор, щас! – засуетился Степан. – Боятся, черти, холодной воды… и топко… Я своих бомбовозов погоню. Они кони трофейные, дисциплину понимают. Пускай первыми…

По кирпично-красному лицу ездового вместе с потом струилось вдохновение.

Трофейные короткохвостые битюги мрачно и обреченно потащили в воду тяжелую телегу.

Далекое тарахтение мотоциклов донеслось и до стоящих на берегу Топоркова и Миронова.

– Ну, Зойка, Герман!.. Ну!.. – подбадривал коней Степан.

Колеса по ступицы вошли в воду и остановились, завязли.

– Ну, еще чуть-чуть!.. Ну, еще малость!..

Кони хрипели, буграми вздулись под кожей мускулы – тяжелая телега не двигалась с места.

Топорков ступил в воду, но его опередил Миронов. Утопая в вязком иле, падая и захлебываясь, он подхватил лошадей под уздцы и потянул вперед.

– А ну взяли!.. Ну быстрей!..

И вот уже будто дюжина бондарей зачастыла молотками по пустым бочкам. Загремел весь лес.

Серой пылью обдало лица Гонты и Берковича. Краска со щек ушла, а глаза запали, стали щелочками.

Шесть мотоциклистов один за другим промчались по дороге в грохоте и гари. В колясках, прыгающих по бугоркам, сидели пулеметчики. А водители, в глубоких тевтонских касках, из-под которых виднелись стекла очков да клинья подбородков, в перчатках с раструбами, держались за прямые палки рулей так осатанело, как будто те готовы были вырваться и умчаться в лес отдельно от колес и седоков.

От дороги до края обрыва было метров пятнадцать. И эта узкая, поросшая рыхим папоротником полоска земли укрывала за собой партизанскую переправу.

Мотоциклисты унеслись, а на поляне осталось сизое облачко выхлопной гари.

Гонта вытер лицо рукавом куртки, и кожаный рукав глянцевито заблестел, словно от выпавшей росы.

Левушкин же, который сидел в густых рыжих косах папоротника неподалеку от дороги, закурил. После этого стал деловито раскладывать по карманам лимонки, гревшиеся на песочке, как черепашьи яйца.

Когда все перебрались на другой берег. Гонта догнал майора, сипло, задыхаясь, сказал:

– Если б немцы нас застукали, последняя пуля в пулемете была б твоя.

– Ну что ж… Спасибо на откровенном слове, – ответил Топорков.

4

Обоз стоял в приречном лесу среди ивняка, который еще не сбросил листву и укрывал партизан надежно и плотно. Туман сочился сквозь ветви. Партизаны кутались кто во что горазд. На ветвях висели гимнастерки, брюки, кителя. Галина, накрывшись грубой рогожкой, лежала на телеге.

Лошади безучастно жевали, опустив морды в подвешенные к сбруе торбы.

Андреев – бороденка на сторону – спросил у окоченевшего Топоркова:

– Вечер к туману пошел, товарищ командир. Разрешите?

Майор кивнул.

– Огонь – это все для человека, – бормотал Андреев, выдувая огонек с помощью своей увесистой «катюши». Искры, как злые муhi, носились у его бородки. – Сытому да обогретому и воевать легче.

Легкое пламя затрепетало в окопчике – и тотчас же все потянулись к костру.

– Ловко ты, дед, – похвалил Андреева Миронов.

– Дело-то знакомое. Я ведь свою жизнь в лесничестве отработал, объездчиком – где ночь застала, там и дом… – Андреев оглядел всех ласковыми, слезящимися от дыма глазами. – Вот… И ревматизм не будет меня мучить. Уж больно невоенная болезнь! Стыдно даже за свой организм…

– Организм! – заметил маленький сутулый Беркович, колесом согнувшись под своей трофейной офицерской шинелью. – Да я бы свой дом променял на ваш организм, такой у вас организм!

– А что у тебя за дом? – спросил Андреев.

– Э, где он теперь, мой дом? – грустно отозвался Беркович.

В самом деле, где его, Берковича, дом? И где дом долговязого человека по фамилии Вилло, где дом майора Топоркова, бойкого Левушкина?

Всходил месяц. Он выкатился по светлому еще небу над рекой, над округлыми ивовыми кущами, над похолодевшей, окутанной туманом землей. И тотчас заблестела и словно бы остановилась, накрывшись фольгой, река. И была эта картина тихой, мягкой и до глухой, до сердечной боли русской.

На склоне пригорка, зеленого от озими, лежали двое дозорных – Левушкин и Бертолет, каска которого чуть поблескивала под лунным светом. Вдалеке, на вершине пригорка, чер-

ными квадратами изб темнело село. Кое-где горел свет в оконцах, и доносились музыка. Кто-то выводил на немецком языке:

«Die Mühlsteine tanzen...»²

– Радиолу запустили, – прошептал Левушкин. – Наша ведь радиола. Там клуб был до войны... Да, испоганили землю. Мы в холода, как жабы за камнем. А они свою музыку пускают!

– Это не их музыка, – сказал Бертолет. – Это Шуберт. Это ничья музыка.

Они лежали тесно прижавшись, согревая друг друга.

– Культурный ты очень, добренъкий, – сказал Левушкин. – Встречал я одного такого. В Чернигове. «Пойдем, – говорю ему, – с нами». А он говорит: «Я неспособный к войне, в человеке, – говорит, – врага не вижу». – «Как так, – говорю, – не видишь? – да как врежу ему промеж глаз: – Вот тебе враг известный, выбирай хоть бы меня, а не сиди на месте чирием!..» Так вот и ты: музыка тебе ничья!

– За что ты меня не любишь, Левушкин? – спросил Бертолет.

Взлетела над селом ракета, и они прижались к земле. Забегали, замельтешили по озимы резкие тени. Баритон, певший о вертящихся жерновах, примолк, словно испуганный ярким светом.

Под навесом из густого ивняка, где сбились телеги и лошади, из-под земли выбивался язычок огня. Над огнем – чугунок литров на пять, над чугунком – раскрасневшийся Миронов с ложкой.

К костру из ивняка вышел Гонта. Он зябко передернул плечами, направился к Топоркову:

– Немцы ракеты пускают. Не нравится мне все это. Самое время проскочить до Калинкиной пущи.

– Люди должны отдохнуть, – отрезал Топорков.

– Ну-ну... Как знаешь... – Гонта хрустнул крепкими костями, в упор оглядел майора – тяжело оглядел, как будто катком придавил.

Майор, не обращая на Гонту никакого внимания, смотрел на огонь внимательно и настороженно, как филин.

– Слушай, Бертолет, а чего это сюда столько фашистов нагнали? – осенило Левушкина. – Стреляют, охранение выставили... Может, это они наш обоз ищут?

– Как это – ищут? – не понял Бертолет. – Откуда они узнали?

– Известно откуда! Они ведь не дураки. Вон наши хлопцы в последнее время сколько раз на засады нарывались. Сыпал кто-то... А вдруг он теперь среди нас?..

Бертолет встревоженно посмотрел на Левушкина:

– Этого не может быть.

– Всяко может быть. Не узнаешь ведь, что там, – Левушкин постучал согнутым пальцем по каске Бертолета. – А кабы узнал, так очкуром бы задушил.

Туман, укутавший реку, карабкался уже по песчаным склонам, просачивался сквозь редкие деревья и охватывал с флангов деревню.

5

Партизаны спали – кто на земле, поближе к огню, подстелив ивовые ветви, кто на телегах, и лошади придревмали, свесив головы, когда вопросительно и жалобно прокричала желна:

«Пи-у, пи-у...»

² «Пляшут жернова...» (нем.)

Андреев ответил ей таким же писком, и вскоре две тени проскользнули в кустах: одна небольшая, гибкая, как бы смазанная маслом в сочленениях для упругости, вторая – угловатая, припадающая на одну ногу, с неестественно огромной головой. Тени приблизились к огню и превратились в Левушкина и Бертолета.

– Немцев в Ольховке человек пятьдесят, – доложил Левушкин майору. – Шебуршатся. Может, сняться нам да рвануть, пока туман? А?..

– Кони притомились, – ответил майор. – Утром снимемся.

Гонта, лежавший неподалеку, приподнял голову и, услышав ответ майора, усмехнулся. Было в этой усмешке нечто зловещее.

…И еще один человек проснулся в ту минуту, когда разведчики вернулись к лагерю: медсестра Галина. Она откинула край рогожки и сонно улыбнулась Бертолету.

Днем, в ватнике, плотно подпоясанная солдатским ремнем, с автоматом, была медсестра Галина боевой товарищ, партизанская подруга, знающая, как зондировать рану при помощи прокаленного в огне шомпола, как устанавливать мину-противопехотку и определять направление авиабомбы, сброшенной с «юнкерса».

Но сейчас, согревшись под своей рогожкой, с припухлым, порозовевшим лицом, она была растерянна, уютна и добра, как все женщины, пробуждающиеся в минуту возвращения мужчины, которого ждали.

И исчез на какое-то мгновение ивовый лес с повозками, мужским храпом и стуком копыт, с бессонным взглядом Топоркова, исчезла деревня Ольховка, где меломан в мышиного цвета форме слушал Шуберта, исчезли «эдельвейсы»… и остались только двое – сонная женщина и мужчина, вернувшийся домой.

И Бертолет, почувствовав тайный, свободный от дневных запретов смысл улыбки, ответил улыбкой, какой-то застенчивой, быстренькой, суевливой, и принял срочно укладываться на валежник у костра.

Галина все смотрела на него, словно ожидая прикосновения или слова. Проходя мимо, быстроглазый Левушкин надернул на лицо медсестры край покрывала и грубо сказал:

– Спи! Чего глазелки выпутила? Не намаялась за день?..

И видел все это бесстрастный, как летописец, майор Топорков. Достал он блокнот и при свете догорающего костерка сделал очередную запись:

«22 октября. Прошли 32 км. Переправились. Немцы ищут обоз. Пока все идет хорошо. Даже слишком хорошо».

В сторонке тихо переговаривались Гонта, Левушкин и Миронов.

– Добром это не кончится, – говорил Гонта. – Зря чужого назначили, зря.

– И я думаю, – согласился Левушкин. – Меры надо принять. Вот только Миронов у нас любит начальство лизать.

– Мое дело солдатское, – отвечал старшина, нисколько не обидевшись. – А только майор – это майор. Ты сначала дослужись! Да он имеет полное право тебя в пекло послать и золу обратно не востребовать!

– Дурак! – сказал Гонта.

День пятый. Гонта показывает характер

1

К рассвету туман исчез, подгоняемый холдом, а подбитые утренником листья посыпались с ив. Партизаны спали, накрытые этими листьями, как камуфляжной сетью, и даже спины лошадей отливали серебристо-зеленым.

Большие, с треснувшим стеклом часы на свесившейся с телеги руке Топоркова показывали пять. И едва минутная стрелка коснулась своего ежечасного зенита, как Топорков вздрогнул и соскочил со своего походного ложа. Разбудил ездового:

– Степан! Осмотря каждую повозку. Каждую гайку подвязи тряпицей, чтоб не грюнуло. Рядом с немцами пойдем.

Тихо-тихо вращались обмотанные тряпицами колеса, отсчитывая секунды походной жизни. Дорога шла через редкий орешник, за которым открывался полевой простор.

– Похоже, мимо Чернокоровичей и пойдем, – говорил Беркович Андрееву и Гонте. – Найду я там кого из своих?

– Там видно будет, – отвечал Гонта.

– Найдешь! – успокоил Берковича Андреев. – А не найдешь, так люди скажут. Человек не иголка!

– И я так думаю, – охотно согласился с Андреевым Беркович. – Может, Лейбу встречу. Он-то скажет! Вы не знали старого Лейбу, это такой человек! У него имелся слепой конь, и он с этим конем ходил по колхозам, собирая щетину для заготовок. Так жил… Такой человек: молчит, молчит, потом вдруг остановит мужика и выложит ему все! Ну, все: как мужика зовут, и сколько детей, и чем болели…

– Гадал, что ли? – спросил Андреев.

– Нет, просто так. Знал как-то! Или спрашивает: «Мужик, щетина есть?» Тот говорит: «Нет щетины!» А Лейба говорит: «Ты посмотри на припечке, где крейда у тебя стоит, там в банке с-под монпасье имеется щетина с прошлогоднего кабанчика, которого ты осенью резал». Мужик смотрит: да, коробка с-под монпасье и там щетина. Положил да забыл… Такой был человек Лейба. Говорят, еще при царе ему предложили ехать ко двору, но он отказался: такой был человек! Моему тестю он сказал еще до первой войны: «Ты, Яков, пойдешь на войну, но не бойся – на четвертый год вернешься домой, и все твои будут живы и даже более того!» И тестю все гадал: почему «более того», а когда вернулся через три года из австрийского плена, то узнал, что у него почему-то дочка родилась. И слава богу, потому что вышла мне хорошая жена. Уже если встречу Лейбу, так он скажет!

– Поповские сказки! – сказал Гонта. – А Лейба твой шарлатан. А если бы был такой, так уж я знал бы, о чем спросить.

– Что бы ты спросил? – поинтересовался Андреев.

– Знаю, – ответил Гонта. – Уж я спросил бы!

Топорков размашисто шагал рядом с прихрамывающим Бертолетом, похожим в своей каске и длинном пальто на осенний гриб опенок.

– Вы женаты, Вилло? – спросил Топорков.

– Я? – Бертолет растерялся. – Собственно… нет… Была невеста, собственно. Но… фамилия у меня, знаете, неудачная. В тридцать седьмом я уехал учительствовать в деревню, да как-то все расстроилось. – Он обеспокоенно посмотрел на майора, а затем выпалил скороговоркой: – Если вас интересует моя биография, я могу подробно.

– Ну зачем же так! – со своей обычной сухостью парировал это предложение майор. – Просто хочу выяснить, почему вы так суровы. Вон там, у второй повозки, медсестра одна управляет, – продолжал Топорков. – Пойдите и помогите ей. И вообще, позаботьтесь. Вы же мужчина, подрывник, черт вас возьми!

Странная, несмелая улыбка скользнула по лицу Топоркова.

Бертолет, сорвавшись с места, бросился догонять вторую повозку. И вот уже огромные разбитые сапоги Бертолета зашагали рядом с хромовыми трофейными сапожками Галины.

А далеко впереди обоза шел Левушкин.

Шаг у Левушкина вольный и бесшумный – кошачий шаг. Глаза быстрые, зоркие, глядящие так широко, что, кажется, с затылка – и то подмечают. Ну просто как у стрекозы – фантастические глаза. Слух чуткий, подхватывающий шелест падающего сухого листа и шум дальнего ручья в колдобине.

И автомат под рукой, а в нем семьдесят желтеньких, жужжащих смертей для врага – целый рой, готовый к вылету. Да четыре тяжелые лимонки в карманах – чертовы рифленые яйца, звон и гром. Да нож отличной золингеновской стали, боевой трофеем от эсэсовца, не просто эсэсовца, а того, что был в голубой шинели на шелковой подкладке. Да парабеллум за пазухой – тоже приятная сердцу игрушка...

Хорошо, бесшумно шел Левушкин – мышцы тугие, жадные к действию, даже, кажется, прислушайся – скрипят от собственной крепости, как портупея у новоиспеченного лейтенанта. А что медсестра Галина – так это забыть! Забыть, в бабушкин комод положить на самое дно! А сверху, как у бабушки, шаль с нафталином, гипсовый бюст Менделеева, ошибочно принимаемый за изображение Саваофа, шубейку лисьего меха, шелковый платок с розочками – и на ключ, баста!

Слушал, смотрел по сторонам Левушкин, но находил еще время и наклониться, подобрать в шелухе листвы орех – и на литые зубы, как в тиски...

Только успел Левушкин орешек подобрать и за щеку его положить, как раздался треск – не от разлетевшейся скорлупы, а от сухой ветки под чьей-то ногой.

Левушкин тут же распластался на земле.

Со стороны опушки, где кончался орешник, доносились голоса. Левушкин разобрал только, что говорят по-немецки.

Осторожно выглянув из-за куста, он увидел двух человек, в коротких, мышиного цвета шинелях и пилотках. Они устало шли по поляне и глядели под ноги. Зоркий глаз Левушкина подметил, что они шли вдоль стелющегося по земле провода. У одного, молодого, за спиной, помимо карабина, висела катушка с проводом – та самая, вечное проклятье всех связистов; у пожилого за поясом с одной стороны была заткнута граната-«колотушка» с длинной деревянной ручкой, а с другой – блестящая телефонная трубка; аппарат же он нес в руках.

Левушкин взглянул вдаль и увидел на склоне одного из холмов хуторок из трех чахлых изб, а неподалеку – грузовик с широким тупым носом и муравьиное скопище солдат вокруг.... Глаза у разведчика посветлели от ненависти, и хмельная поволока слетела с них, как пенка с молока. Он криво, недобро усмехнулся, словно кот на синичий звон, и, вихляя узкими бедрами, пополз следом за гитлеровцами...

2

Когда Левушкин вернулся к обозу, то за его плечами висел вместе с автоматом ППШ немецкий карабин, а за поясом с одной стороны была заткнута граната-«колотушка» с длинной деревянной ручкой, а с другой – телефонная трубка, соединенная с аппаратом, который Левушкин нес в руке.

Горделиво прошел он мимо Галины и Бертолета прямо к Топоркову.

– Товарищ майор, в хуторе немцы. На «даймлере» прикатили.

– А это что? – спросил Топорков, указывая взглядом на трофеи.

– А-а... это? – с невинным видом переспросил Левушкин. – Это так... Связисты линию проверяли. Прямо на меня нарвались, черт! Деваться было некуда.

Глаза у Левушкина заголубели – честнейшие, наивнейшие, цвета вешней водички.

Топорков пожевал сухими губами.

– Линию они проверяли? Значит, связь проложена?

– Так точно, проложена. На Ольховку, должно быть.

– Вилло! – крикнул Топорков. – Вы немецкий знаете!.. Пойдете с Левушкиным, подключитесь и послушаете. Затем обзовете линию и место обрыва заминируете.

Бертолет бросился к телеге и достал из-под сена черную коробочку.

Прижав телефонную трубку к уху, подрывник слушал чужую разноголосицу.

– Ну что? – нетерпеливо спросил стоявший рядом Левушкин...

Бертолет прикрыл трубку рукой:

– Ничего интересного... Новый год собираются в Кисловодске встречать.

– А почему в Кисловодске?

– Спросить? – сказал Бертолет.

Левушкин замолчал.

Время от времени, вслушиваясь в немецкую речь, Бертолет бросал тосклиwyй взгляд на убитого связиста, который лежал неподалеку. Ветер шевелил светлую прядь, прикрывавшую глаза немецкого солдата.

– А теперь? – снова спросил Левушкин.

– Да все то же... болтовня... Стой!

Лицо Бертолета, и без того длинное, стало вытягиваться по мере того, как он слушал.

– Что?.. Что они?

Однако подрывник, сохраняя застывшее, восковое выражение лица, еще крепче прижал к уху трубку. Наконец он отсоединил аппарат.

– Ну что?..

– Ты был прав, – сказал Бертолет. – Они знают.

– Что знают?

– Все. Про обоз все знают.

3

– Я слышал все это сам, – встревоженно говорил Бертолет Топоркову. – Какой-то лейтенант отдал распоряжение жандармскому вахмистру из Ольховки выступить на помощь егерям и совместно уничтожить обоз...

– А подробнее?

С деревьев падали мокрые листья. Топорков сидел на стволе поваленного дерева и смотрел себе под ноги. Лицо его оставалось спокойным и бесстрастным.

Они были одни здесь – обоз стоял на опушке. Ждал.

– Подробнее?.. Лейтенант сказал: обоз с оружием пробивается в Кочетовский партизанский отряд. Четыре телеги, сорок семь ящиков с оружием и патронами. Сопровождают обоз, сказал, восемь бойцов, в том числе одна женщина. Прошли Ольховку, двигаются на северо-запад... Еще сказал, что ведет обоз бывший красный командир, майор... – Бертолет помолчал и затем добавил: – Одного не пойму, почему он сказал, что нас восемь. Ведь нас девять!

– Один человек сам себя не посчитал, – сказал майор. – Понимаете?

Бертолет загнал прямые, светлые брови под самую каску.

— Значит... вы думаете... Нет, нет, — пробормотал он, ужасаясь тому, что нетвердая догадка Левушкина становится реальностью. — Это еще надо проверить... Хорошенько все проверить и упаси бог сказать кому-нибудь.

— Почему?

— Искать его надо... проверять. Но пока никому не говорить. Эта мысль и так уже витает в воздухе... Быть беде!

— Боитесь?

— Подозрительности боюсь. Каждый начнет на другого коситься, все разладится. Как в бой идти, если самим себе не верить? Нет ничего страшней всеобщей подозрительности. Я это знаю!

— И я знаю, — сказал Топорков.

— Значит, так, — начал майор, и партизаны сразу подтянулись, услышав его спокойный голос. — Противник выследил нас и даже примерно установил состав. Вероятно, предстоят бои. Попытаемся их избежать. Для этого предлагаю уйти обратно к реке и под прикрытием тумана двинуться к Гайворонским лесам... Других мнений нет?

— Никак нет, — поспешил ответить за всех Миронов.

— У вас, Гонта? — спросил Топорков, и взгляды их сошлись, как штык к штыку в фехтовальной позиции, и, кажется, даже легкий звон прошел от этого жесткого соприкосновение.

Гонта ничего не ответил, пошел к телеге.

— Ты чему радуешься, отставной старшина? — спросил Гонта, вышагивая рядом с Мироновым.

— А чего? — сказал Миронов, помахивая кнутом. — Главное — приказ четкий, задача разъяснена.

— Эх, голова... — буркнул Гонта. — Если б майор двинулся ночью, как я советовал, мы бы сейчас далеко были!

— Майор — фигура, — пояснил Миронов авторитетно. — Он начальником гарнизона был. Шутка ли! В уставе сказано: «Имеем право привлекать к ответственности военнослужащих, не проходящих службу в частях данного гарнизона, а также проводить дознания!..» Во!

— Если бы вы видели, — вмешался в разговор Беркович, — это был до войны такой красивый брюнет, такой упитанный...

— Это когда ты на него «Северным сиянием» прысал? — спросил Гонта, щуря свой жесткий и хитрый глаз.

— Совершенно верно. Теперь он, конечно, другой человек, усталый. А смотрите — ведет! И без выстрелов, без потерь...

— Все будет, — буркнул Гонта. — Если так идти, все будет. Мы как направляемся к кочетовцам? Через Гайворонские леса. Это места сухие, чистые. Не наши, не партизанские места. А немец болота боится!

С опушки орешника, за километр, донесся глухой удар, будто гигантским вальком кто-то ударил по земле. Лошади нервно застригли ушами.

— Ну вот! Начинается, — кивнул Гонта.

— Это мина, — спокойно объяснил Миронов.

— Какая еще мина?

— Бертолет заложил. Майор распорядился.

— Черт... Нам бы тихо идти... подальше оторваться!

— Брось, Гонта. Не нам с тобой обсуждать.

— Ты, сверхсрочничек! — оборвал Миронова Гонта. — Может, я не до тонкостей разбираюсь в военном деле... но в людях — разбираюсь. — И в голосе его прозвучала уже неприкрытая угроза.

Обоз шел в глухом приречном тумане. Неслышно шел. Только звякает время от времени металл, или хрустнет под колесом сухая валежина, или хлестнет кого-нибудь по лицу пружинистая ветка.

Сырость была густая, вязкая, как кисель. Туман стоял впереди стеной. Но по мере того как подходил обоз, из этой стены выступали какие-то фантастические темные узоры, какие-то когтистые лапы и сгорблленные фигуры. И с каждым шагом эти лапы и фигуры приобретали все более реальные очертания и становились узловатыми дубами или кустами ивняка.

Туман темнел: приближались сумерки.

Иногда над долиной реки пролетал огненный пунктир трассера. «Тра-та-та-та!» – строила машина, укладывая высоко над головой партизан непрочную огненную строчку.

Или где-то совсем близко взлетала ракета: словно бы кто, озоря, высоко подбрасывал в воздух тлеющий окурок. Но затем вдруг окурок весело хлопал, вспыхивал и с шипением начинал сеять вокруг голубоватый мертвенный свет.

– Пуляют в божий свет, – говорил Андреев. – Сами боятся и нас пугают… Один знающий человек рассказывал – каждый автоматный выстрел двадцать копеек стоит. Нажал – и пожалуйста, три целковых. – Он скосил глаз на Левушкина. – Вот Левушкин свободно мог бы миллионером стать, любит нажимать!..

– Молодцом, батя, – похвалил Андреева Левушкин, – не унываете!

– Чего унывать? Унывать некогда. Не все слезки еще у нас с немцем сосчитаны!

Топорков шел сзади, немного поотстав от последней телеги. Шел шатаясь, и тонкие прямые ноги, подставляемые под наклоненное, падающее вперед туловище, служили ему ненадежной опорой.

Гонта встал на его пути.

– Опять одиночества ищешь? – с вызовом спросил он. – Ты погоди, майор. Поговорить с тобой хочу. Пришел час.

– О чем?

– Известно о чем! – Гонта вдруг перешел на шепот. – Шлепнуть бы тебя – и дело с концом…

– В чем ты меня обвиняешь?

– В том, что умышленно вывел обоз на немцев, что всех нас, как пацанов, в угол загнал… Не знаю только, от дурости или еще по какой причине… Что в Гайворонские леса на погибель нас ведешь… А немцы откуда все про нас разнюхали, а?

– Глупости говоришь, Гонта.

– Нет, майор. Я за тобой давно наблюдаю. Затеваешь ты что-то, хитришь…

– Точнее? – сказал Топорков.

– А точнее – сдавай оружие! Меня послали заместителем, майор. Вот и пришла пора заместить.

Топорков сжался, как для прыжка. Со злостью смотрел он на бронзоволицего, крепкого Гонту. Но постепенно накал его зрачков потух, пальцы разжались.

Он отвернулся и в задумчивости принялся рассматривать носки своих сапог.

– Не хитри, майор, – сказал Гонта. – Сдавай оружие. Плохо тебе будет, майор. Меня с места не сдвинешь. Застрели!

…На бетонном плацу, среди серых низких бараков, стояла шеренга людей, отмеченных печатью дистрофии. И лающий голос офицера вырывал из этой шеренги каждого пятого: «Fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!..»

– Да, тебя не сдвинешь, – тускло сказал майор. – Ну хорошо… согласен.

Он передал Гонте автомат и парабеллум:

– Смотри, доведи обоз до кочетовцев...

– Это уж не твоя забота, майор. Доставим. И тебя до особого отдела доставим. А погибнем, так знай, майор, – твоя смерть чуть впереди моей идет!..

Гонта закинул автомат Топоркова себе за спину, парабеллум сунул в карман куртки.

– Лишь об одном я тебя попрошу... – Топорков сказал это с натугой, как бы повернув внутри себя скрежещущие мельничные жернова, и слова вышли из-под этих жерновов сдавленными, плоскими, лишенными выражения. – Делай хотя бы вид, что ничего не произошло, иначе отряд начнет распадаться... Если исчезнет дисциплина, немцы возьмут нас голыми руками.

Он не стал ждать ответа, пошел к обозу. Теперь его лицо казалось бесстрастным. Он словно вслушивался в отдаленные голоса. Гонта проводил его удивленным взглядом.

День шестой. Бой в чернокоровичах

1

Прихрамывая, Бертолет шагал рядом с Галиной. Тревожно прислушиваясь к отдаленным выстрелам, он клонил к Галине голову, прикрытую округлым металлическим шлемом.

– Жалею, что вы пошли с нами, – говорил он. – Видите, как все складывается. Ищут нас немцы.

– Ничего, – ответила Галина. Она подняла на Бертолета глаза, сказала, продолжая думать о чем-то своем: – Знаете... Вот у меня жизнь не очень хорошая была. Отец пил... Мы, детвора, – как мыши... Парень за мной стал ухаживать, ничего парень, электротехник, да из-за отца отстал. Нет, не так уж много хорошего было. А все – наше... Понимаете? Вот они пришли, чужие, а я им ничего не хочу отдать – ни хорошего, ни плохого. Ничего им не понять, и ничего у меня к ним, кроме ненависти, нету...

Впереди послышался какой-то шум. Бертолет вытянул длинную, худую шею. Из темноты выступил Левушкин, махнул рукой:

– Если на Берлин, то направо! Сворачивайте! Приказ!

Галина схватилась за вожжи, телега свернула. Колеса запрыгали по колдобинам и корням у самого края заполненного клубящимся туманом бочага.

– Почему свернули? – спросил у Гонты Топорков.

– Я приказал. Иди, майор, помогай лошадям пока...

– Не горячись, Гонта. Думай о военной стороне дела.

– А ты не путай меня! – огрызнулся пулеметчик. – Что ты путаешь? Не разберусь: или тебя шлепнуть как злостного предателя, или довести до партизанского нашего трибунала... Не путай меня, майор!

Топорков закашлялся, сказал, протирая слезящиеся, воспаленные глаза:

– В Калинкиной пуще болота!

– И дело! Растворимся, проскочим. Болота партизану – верный друг. В болотах наша сила!..

– Против нас идут егеря. Они умеют воевать в лесах.

– А ты разве не в Гайворонские леса нас вел?

– Там нас до поры до времени мог спасать маневр.

В темных, сощуренных глазах Гонты светилась неповоротливая, но верная, без обману, крестьянская смекалка. Он докурил цигарку с партизанской виртуозностью, без остатка – только две мафорочные крошки осели на желтом пальце. Дунул на обожженную кожу, покосился в сторону майора:

– Эх, майор! До поры до времени! А потом как?.. Чего задумал, а? Нет, не путай меня! Идем в Калинкину пущу, точка! – И Гонта тяжелой рысцой помчался к обозу.

– Кучнее держись!.. Подтянись! – раздался его басовитый голос.

– Что-то я по старости лет не пойму, кто нас нынче ведет, – ворчал Андреев, хитро и молодо глядя из-под капюшона на Гонту.

– Видать, майор ему приказал командовать, – ответил шагавший рядом Миронов. – Наше дело – подчиняться. Если во все встревать, нос прищемят.

– Во-во, – согласился Андреев. – Знал я одного такого из-под Хабаровска. Ему конь копытом нос отбил. Так он этот, как его... гу... гуттаперчевый носил... Сколько он их растерял по пьяному делу! Этих носов-то...

– Ишь ты, – восхитился Миронов. – Это ж денег не напасешься!

— А он зарабатывал. Без носа был, зато с умом… А вот те, которые ни во что не встревают, у тех мозги гуттаперчевые становятся, это хуже.

— Ядовитый ты, дедок, — сказал Миронов.

2

С рассветом Гонта разрешил партизанам отдохнуть, и они заснули в тех позах, которые способно придать человеку лишь крайнее утомление, когда даже обитый железом ящик кажется теплым настилом русской печи.

Отдельно, в можжевельниковом кустарнике, уложив шинель на пружинистые, плотные ветви, спал Левушкин. Гонта тронул его за плечо. Разведчик тотчас же вскочил, словно подброшенный кустарником, как катапультой. Он тряхнул головой, и сон слетел с него вместе с хвоей и листьями, запутавшимися в волосах.

— Пойдешь в Чернокоровичи. Возьми парикмахера: он здешних знает… Если там все в порядке, махнешь с околицы пилоткой. Нам к Калинкиной пуще пересекать. На виду у деревни! Так что сам понимаешь.

— Ясно! — Левушкин сунул за пояс трофейную «колотушку» и отправился к Берковичу: — Пошли к родичам, парикмахер!

Тот одернул серую шинель, оглянулся на одинокую тощую фигуру Топоркова:

— Прямо взяли и пошли! Сначала доложусь.

— Не надо, — усмехнулся Левушкин. — Гонта распорядился.

— Тем более!

И Беркович побежал к Топоркову, остановился напротив и даже попытался изобразить классическую строевую стойку.

— Товарищ майор, разрешите отбыть в разведку! — он косил взгляд на стоявшего неподалеку Гонту, догадываясь о сложностях, возникших в отношениях этих двух людей.

Легкая, пролетная улыбка коснулась лица Топоркова, чуть дрогнули края глаз и уголки бледногубого рта.

— Идите, Беркович, — мягко сказал майор.

И парикмахер, круто повернувшись, затрусиł за Левушкиным. Вот уже его маленькая сгорбленная фигурка исчезла в кустарнике.

Ключья тумана расползались по холму, как овчье стадо. Лес кончился, впереди лежала темно-серая, перепаханная когда-то, но уже заросшая сорняком земля. За холмом, на берегу реки, темнело несколько десятков изб, а еще дальше, километрах в трех или четырех, начинался новый лес, казавшийся отсюда, с опушки, густым и заманчивым. Но обозу, чтобы дойти до него, требовалось пересечь открытый участок.

— Вон то и есть Калинкина пуща? — спросил разведчик.

Беркович кивнул и, вытянув шею, продолжал вглядываться в крайне дома. Он словно чего-то ждал.

— Молчат, — сказал вдруг он растерянно. — Как ты думаешь, Левушкин, почему они молчат?

— Кто?

— Петухи… Раньше, бывало, за версту слышно… Знаменитые были петухи. Хор Пятницкого так не пел!

— Сейчас многие не поют, кто раньше пел, — философски заметил разведчик.

— Может, спят еще?

— Ничего, — Левушкин сунул за пояс трофейную «колотушку», — разбудим!…

3

Диковинна и загадочна связь великих и малых явлений в мире войны: вот Беркович, сутулый штатский человек, страдающий гастритом, парикмахер, руки которого изнежены от многолетней жизни с бриолином и паровыми компрессами, и, пожалуйста, — на Берковиче немецкая офицерская шинель с плеча белокурого обер-лейтенанта из Пруссии, а в руках не машинка для стрижки, а совсем иного рода механизм: тяжелый тупорылый пистолет-пулемет системы товарища Шпагина, скорострельностью тысяча выстрелов в минуту.

Перед Берковичем — деревня, где живет его собственная теща, тетя Ханна, которая бы прямо руками всплеснула от радости, завидев знакомые оттопыренные уши зятя, круглые, как диски ППШ, но Беркович вынужден прятаться в кустарнике совсем неподалеку от дома тещи, а потом, словно щелудивый бездомный пес, ползти к дому тещи на животе...

На самой окраине Чернокоровичей они отдохнули, а затем Левушкин подбежал к крайнему дому и, извиваясь бесхребетным телом, нырнул в дыру в заборе, за ним полез и парикмахер.

Сквозь окно с выбитыми стеклами они заглянули в избу. Изба была пуста. На них пахнуло плесениным духом.

Левушкин просунул голову в приоткрытую дверь хлева. Пустые коровьи ясли... пустые насесты... ни одного живого существа... И улица была пустынна, как в дурном, страшном сне.

Полные тревоги, встав почему-то на цыпочки, они перебежали к следующему дому.

— Эй, тетя Ханна! — крикнул Беркович. — Отзовитесь!..

Он вошел в большую, наполненную сквозняками, дующими из пустых окон, комнату. Увидел обломки грубой, домашнего изготовления мебели, подобрал бутылочку с надетой на горлышко соской... По комнате летал пух, играл в догонялки. Беркович вышел из избы и опустился на крыльце.

— Значит, это правда? Значит, они никого не оставляют? Даже в селах? А-а-а... — пробормотал он, обхватив голову руками. — Ведь жили же здесь люди, тесно жили, один к одному, как у человека зубы, и никто друг другу не мешал! И немецкие колонисты — да, Левушкин, и немцы, и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и никому не было тесно, всем была работа... А какие ярмарки были здесь, Левушкин, какие ярмарки! Каждый привозил чем гордился, что умел делать: и ты мог выпить немецкого густого пива, и купить глечик или макитру у украинского гончара для коржей или белорусской картошки на семена — какая была картошка! Или купить хорошие цинковые очки у старого еврея, чтобы купать своего младенца; ты не купал младенца, Левушкин, ты не знаешь — это же такая радость!

— Ты посиди, — сказал Левушкин и дотронулся рукой до шинели Берковича. — Ты отдохни.

И он пошел по пустой улице, мимо безглазых домов. На окопице остановился и замахал пилоткой.

Сверху ему было хорошо видно, как из лесу вышел Гонта, а следом потянулись телеги.

— Не торопитесь! — командовал Гонта. — Колеса не побейте на пахоте!..

И телеги замедлили свой ход, поползли тихо, как утки, переваливаясь из стороны в сторону...

Левушкин проводил взглядом обоз.

Всходило солнце. Великолепная красная краюха легла на полузаставленный плетень возле дома старого Лейбы, профессионального собирателя щетины и прорицателя общественника.

И тут произошло явление невероятное, удивительное.

Закричал петух. Облезлый, малорослый, со свалившимся набок гребнем, покрытый пылью каких-то неведомых закоулков, одичавший, сверкая свирепым глазом, он вскочил на плетень и заорал.

Он ликовал, он испытывал непонятное петушиное вдохновение и орал так, словно взялся подтвердить славу голосистых чернокоровических петухов, дабы не исчезла она из памяти человеческой.

Левушкин в изумлении открыл полнозубый рот:

– Гляди-ка, уцелел!.. Разве что на суп хлопцам?.. Стукнуть, а? – и Левушкин с несвойственной ему нерешительностью снял с плеча автомат.

– Уцелел! – прошептал Беркович. – Хоть он-то от фрицев уцелел!

– Партизанский петух, – подтвердил Левушкин и не без сожаления закинул автомат за плечо. – Черт с ним, пусть гуляет. Заслужил!

И в эту секунду, в паузе петушиного пения, где-то далеко за селом глухо взревел мотор.

Левушкин обернулся и увидел, что из низинки к Чернокоровичам движется тяжелый трехосный «даймлер», в кузове которого однообразно, в такт, колышутся кепи егерей…

Взгляд Левушкина метнулся в другую сторону. Там, по пахоте, шли партизанские телеги. Шли очень медленно, чтобы не побить колеса. Семеро партизан не предполагали опасности со стороны деревни…

– А, черт, – с тоской сказал Левушкин и увлек Берковича за дом. – Надо их остановить. А то к обозу вырвутся…

Хищно оскалив рот, он еще какое-то время смотрел на взбирающийся на пригородок «даймлер», а потом решительно сунул руку в карман своих кавалерийских галифе, шитых на Добрину Никитича, извлек оттуда кусок проволоки и принялся деловito и ловко через рифленые корпуса привязывать лимонки к «колотушке».

– Становись за углом, – сказал он парикмахеру. – Как только ахнет – сразу очередью по кузову и на огороды, к реке. Может, утчем…

Телеги переваливались через твердые, как камень, сухие глыбы земли. Иной раз какая-нибудь упряжка застrevала, и приходилось всем миром наваливаться и враскачуку выталкивать ее из борозды или из глубокой промоины.

Кони были мокрые, бока их вздымались, как кузнецкие мехи.

– Загоним коней… Эх, загоним… – причитал Степан, перебегая от одной телеги к другой.

– Да заткнись ты… пономарь! – зло сказал Гонта, рукавом куртки смахивая с лица пот. – Людей бы пожалел!..

4

«Даймлер» плотно, уверенно хватал проселок черными разлапистыми колесами. Солдаты, сидевшие в кузове, смотрели тупо и прямо, борясь с дремотой. Грузовик въехал в узкую улицу деревни, и гулкое эхо заиграло среди пустых домов.

Румяный егерь с ефрейторской лычкой на погонах, сидевший над самой кабиной, вдруг встал и, указывая рукой туда, где виднелись партизанские упряжки, завопил и застучал по кабине.

Шофер прибавил ходу. Прямой клив ручного пулемета вытянулся в направлении обоза. Вразброд, как настраиваемые инструменты оркестра, заклацали затворы.

…Металлическая коробка по названию «даймлер», наполненная солдатскими судьбами, как воскресная авоська алкоголика пустыми бутылками, подъезжала к дому, где стоял Левушкин.

В обозе тоже услышали гул мотора и увидели приближающийся к домам грузовик.

– Фашисты! – крикнул Миронов и принялся нахлестывать свою упряжку. Не успев свернуть, он задел край телеги, у которой шел Бертолет. Раздался треск, телеги сцепились.

— Какого черта, не видишь! — закричал старшина, замахиваясь кнутом. — Путаешься здесь, нескладуха! К лесу не поспеем!

Топорков скользнул внимательными глазами по лицу старшины и бросился к Гонте.

— Ну!.. Чего же ты! Командуй! — сказал, ухватив Гонту за плечо тонкими цепкими пальцами. — Ставь пулемет!

Левушкин притаился за углом дома, держа наготове тяжелую железную грозь. Глаза его были полны холодного бешенства.

Он ждал, рассчитывал. Скорость машины, траектория полета гранат, время горения запала — все эти величины сложились в голове Левушкина в одну четкую формулу, да так быстро и ловко сложились, как будто Левушкин усвоил эту формулу еще до того, как у него прорезался первый зуб.

И как конечный, действенный вывод этой формулы был взмах руки. Дернув длинный шнур «колотушки», Левушкин неторопливо швырнул связку через плетень, под радиатор наездавшего «даймлера».

Левушкин был из автомата в облако пыли и дыма, все еще окутывавшее грузовик.

— Стриги их, парикмахер! — упоенно кричал он.

Но из облака удариł ответный огонь, и древесная труха, посыпавшаяся из бревен над головой разведчика, запорошила ему глаза.

— Отход! — закричал Левушкин, и они помчались за дом, на огороды, к крутыму берегу реки.

Беркович первым прыгнул с песчаного откоса вниз, но сделал это как-то странно, неуклюже, словно разобщившись вдруг в суставах. Левушкин приземлился на влажный прибрежный песок мгновением позже. Парикмахер лежал ничком. Запаленно дыша, Левушкин коснулся его затылка — и ладонь стала красной.

Он перевернул Берковича на спину и увидел окровавленный рот; темные шарики зрачков безвольно покатились в глазные уголки и застыли.

Левушкин услышал наверху тяжелый топот.

— Эх, душу вашу! — выругался разведчик сквозь стиснутые зубы и, подхватив автомат Берковича, помчался под крутым берегом к прибрежным кустам.

Стихли выстрелы. Румяный ефрейтор стоял на берегу рядом с обер-фельдфебелем, в трех метрах над Берковичем, и рассматривал убитого.

— Ich hab ihn niedergeschossen, wie ein Rebhuhn, — сказал ефрейтор. — Grad im Flugel³.

— Gut! — мрачно буркнул обер-фельдфебель.

Неподалеку перевязывали раненых. Маленький радист с рассеченной губой, бледный, заученно кликал по походной рации какого-то «Jäger» — «Охотника».

— Ou, ein Hahn!⁴ — раздался со стороны огородов приглушенный вопль ефрейтора.

Он стремительно рухнул на землю, как борец на поскользнувшегося противника, а когда поднялся, в руке его разноцветным флагжком трепетал единственный чернокоровический петух. Петух делал отчаянные попытки вырваться, но красные толстые пальцы держали его крепко.

Господин обер-фельдфебель улыбнулся. Улыбка появилась и на лицах солдат. Даже рассеченная губа радиста потянулась в улыбке.

Взрывы и смерть они не видели. Взрывы и смерть — это неизбежно, а петух для солдатского котла — находка. Петух — это очень хорошо.

— Ein Hahn! — еще громче закричал ефрейтор и залез на поленицу, высоко подняв петуха.

Издалека, со стороны леса, раздался щелчок — будто бы ударил пастущий бич на опушке.

³ Я подстрелил его, как куропатку, влет (нем.).

⁴ О, петух! (нем.)

Ефрейтор, стоявший на поленнице, как на пьедестале, побледнел. Маленькие его глазки, разгоревшиеся под биением петушиных крыльев, как угольки, вмиг подернулись пеплом.

Две или три секунды ефрейтор еще продолжал стоять, словно бы осваивая неожиданную и неприятную мысль о том, что ему уже не придется хлебать суп из чернокоровичского петуха, а затем тяжело рухнул на землю.

Вместе с гримасой страха и боли его пивное лицо посетило на краткий миг, как последний божий дар, человеческое выражение.

Андреев опустил снайперскую винтовку.

Поленница рассыпалась от падения тяжелого ефрейторского тела. Петух вырвался из ослабевших пальцев и, разбросав крылья, сверкая когтистыми лапами, опрометью умчался в овражек, в густой бурьян – продолжать свою таинственную, одинокую петушиную жизнь…

5

Накликал «охотников» маленький немецкий радист! Едва обоз втянулся в лес и едва успел Гонта дотащить трофейный МГ до опушки, как окраина Чернокоровичей наполнилась веселым мотоциклетным треском.

Одна за другой, словно блохи, впрыгивали черные маленькие мотоциклистки на бугор, где стояло село, исчезали среди домов, а затем, значительно увеличившись в размерах, появлялись на противоположной окопице, ближе к партизанам. За мотоциклистками показался еще один мерно рокочущий, громоздкий, как чемодан, грузовик, везущий новую порцию солдат.

Мотоциклисты остановились на дороге, метрах в пятистах от леса. К ним подъехал грузовик. Егеря, быстро и ловко развернувшись в цепь, двинулись к опушке. Позади шел офицер в высокой фуражке, в окружении нескольких автоматчиков.

– Будут прочесывать, – сказал Топорков, глядя на цепь гитлеровцев одичавшими глазами.

Гонта кивнул и, словно бы лишь сейчас вспомнив о ссоре, резко повернулся к майору и схватил его за отвороты шинели. Легкое тело Топоркова заколыхалось, как сухой стебель мяты под ветром.

– Слушай, майор, ты в военном деле кумекаешь! Я тебе верить хочу, понял?

Топорков смотрел в бронзовое, скуластое лицо пулеметчика, раскачиваемый его руками.

– Отпусти, – сказал он тихо, и пальцы, державшие шинель, разжались. – Хочешь верить, так верь. Не паникуй. Воюй, Гонта! – И он повернулся к Андрееву, который неслышно залег рядом в траве.

– Андреев, офицера видите?

День шестой. Измена

1

Цепь, продвигавшаяся к лесу, наткнулась на длинную очередь и залегла. Лейтенант в высокой фуражке перебегал с одного места на другое, слышались его сердитые окрики.

Выждав, когда стих пулемет Гонты, егеря снова стали приподниматься и попеременно, перебежками, под прикрытием густого автоматного огня продвигаться к лесу. Приподнялся и офицер.

Этого только и ждал Андреев. Вглядываясь сквозь цейсовскую оптику в белое, сухое лицо, он нажал спуск. Взмахнув руками, лейтенант скрылся в траве.

Два егера тотчас бросились к нему...

– Sanitätsdienst! – закричали на опушке. – Zum Herrn Leutnant!⁵

Цепь залегла. И в это время коротконогий, приземистый обер-фельдфебель подбежал к мотоцилистам и что-то прокричал им, взмахнув рукой по направлению к лесу.

Вскоре грохочущие, юркие машины исчезли с опушки. Только легкие столбы пыли закрутились над дорогой, и в эти-то столбы напряженно всматривался майор Топорков.

– Я пойду к обозу! – крикнул он Гонте и коснулся его пропыленной кожаной куртки. – Мотоциклы пошли в обход! В тыл!

Гонта открыл прокуренные крупные зубы. Во взгляде его сквозила неуверенность.

– Никуда... Со мной будешь! – буркнул он и вновь взялся за рукоять МГ.

Ему не пришлось стрелять. Егеря не отрывались от земли. Не хотели егера идти в загадочный, глухой лес, где скрывались партизаны.

– Видал! – с торжеством сказал Гонта и повернулся к майору.

Но майора не оказалось рядом. Он исчез. Убежал!

Обоз с трудом пробирался в чащобе. Со стороны опушки доносились приглушенные расстоянием выстрелы.

Степан увидел впереди просвет, обогнал свою шедшую первой упряжку и выбежал на узкую лесную дорогу с глубокими колеями, пробитыми в песке.

– Хлопцы, сюда! – крикнул Степан.

Бертолет, Галина и Миронов погнали лошадей к дороге. Уже вздохнули облегченно Степановы битюги, развернув телегу на песчаной колее, когда на дорогу, чуть в стороне, выбежал Топорков.

– Назад! – закричал он. – Назад, в лес!

Впалая грудь майора ходила ходуном. Он стиснул воротник гимнастерки, чтобы удержать в себе сухой, сипящий кашель, который рвался наружу.

Степан, недоуменно хлопая белесыми ресницами, принял разворачивать телегу. Топорков подбежал к Бертолету.

– Автомат! – скомандовал он, и Бертолет послушно отдал свой шмайссер.

Топорков, неловко вскидывая ноги, помчался на дорогу. И тут они услышали знакомое тарахтение, будто кто-то, приближаясь, вел палкой по штакетнику.

Подрывник сбил набок каску, отчего лицо приобрело несвойственный ему ухарский вид, взял из-под сена гранату и побежал вслед за майором.

И Галина, забросив вожжи на телегу, помчалась за ним.

⁵ Санитары! К господину лейтенанту! (нем.)

— Тю, скаженни! — сказал невозмутимый Степан и, почувствовав себя самым главным из оставшихся — как-никак человек при конях, — рявкнул на Миронова:

— Отводи обоз!

Топорков, за ним — кузнечиком — прихрамывающий Бертолет, а затем Галина выбежали к повороту дороги, когда из-за деревьев, пробуксовывая в песке, юзя от бровки к бровке, показался первый оторвавшийся от других мотоцикл.

Лицо у подрывника вытянулось и побелело. Он взглянул на Галину и сделал глубокий вдох, как перед прыжком.

— Ничего, — сказал Топорков. — Нам их только отпугнуть!

Крючковатым тонким пальцем он нажал на спуск. И Галина дала короткую очередь.

Водитель мотоцикла попытался было развернуться под огнем, но завяз в песке. Тогда он спрыгнул с сиденья и покатился с дороги в кусты.

Напарник его, сняв с коляски пулемет, зацепился шинелью за какой-то выступ, яростно рвался, пока тот, первый, не пришел ему на помощь, и оба они скрылись в лесу.

С грохотом, на низких передачах, приближались остальные мотоциклисты. Завидев покинутую машину, они остановились, развернув слегка коляски, и осипали лес плотным огнем из трех пулеметных стволов.

Топорков, Бертолет и Галина лежали, уткнувшись в землю, не поднимая головы. Куски коры, срезанные ветви летели на них, и лес загудел, принимая на себя свинцовый удар.

2

Степан возился с застрявшей телегой, колесо которой заскочило в расщепленный пень.

По ожесточенной пулеметной стрельбе, доносившейся со стороны лесной дороги, Степану нетрудно было догадаться, что Топоркову приходится тяго. И поэтому, с надеждой взглянув на вооруженного до зубов Миронова, Степан сказал:

— Слышишь, рубка идет!

Миронов прислушался. Автоматы Галины и Топоркова стучали без перерыва, но затем автоматные очереди перекрыло звонкое татаканье пулеметов.

— Наши... А это немцы...

Через несколько секунд автоматы и вовсе затихли, лишь пулеметы бушевали вовсю.

— Немцы!

— Видать, труба дело, — сказал Миронов. — Видать, прихватят нас! Да мы ж не начальство, чего им нас расстреливать, а? Авось живы будем.

— Чего ты мелешь? — сурово спросил ездовой.

— Я дело говорю, — озираясь по сторонам, сказал Миронов. — Конечно, командиров, коммунистов они расстреливают, а ты-то человек подневольный...

— Вот, — сказал Степан и достал из-под сена две рифленые лимонки. — Прямо под взрывчатку и суну, понял? Вот будет и плен...

Миронов вытер ладонью лицо и улыбнулся:

— А ты молодцом, Степа!

— Экзамены устраивать! — пробормотал Степан. — Нашел время!

Обхватив своими лапами-клешнями колесо, он наконец вырвал его из капкана.

— Н-но, родные, давай! — гаркнул он.

И тут, разворачивая телегу, Степан заметил двух поджарых, пропыленных фашистских солдат, которые зло и испуганно смотрели на него из-за дерева. Это двое вооруженных ручным пулеметом мотоциклистов, искавшие выход к опушке, наткнулись на обоз.

Широкое лицо ездового отразило мучительную внутреннюю борьбу. Первой мыслью Степана было броситься под телегу и уползти, второй — схватить с телеги карабин, а третьей —

не делать ни того, ни другого, потому что ползти – позор, к карабину не поспеть, а вот обоз, который ему доверен, надо угонять в лес, спасать от гитлеровцев.

Все эти фазы душевной борьбы отразились на лице ездового в тот промежуток времени, когда колесо телеги делало четверть оборота. Степан подчинился третьей, самой важной мысли.

– Миронов, стреляй! – закричал он, как в граммофонную трубу, так что эхо пошло гулять по лесу, и погнал своих битюгов вперед.

Мужественный, умелый сверхсрочник, несомненно, должен был выручить Степана точным огнем.

Но Миронов повел себя странно, даже невероятно. Как будто особым, избирательным чутьем уловил лишь первую мысль Степана, а остальные заблудились, рассеялись по лесу.

Миронов бросился на землю и притих, словно ожидая, чем закончится эта любопытная сценка.

– Миронов! – взвыл Степан, нахлестывая лошадей. – Стреляй!

Но сверхсрочник, пятясь, пополз в соснячок, под защиту ветвей. А мотоциклист, тот, что был с пулеметом, справился с потрясением, вызванным неожиданной встречей, и уже наставил ствол со зловещим раструбом пламегасителя на конце. Только то обстоятельство спасло ездового, что при развороте телеги заводные лошадки заслонили его спинами от фашистов.

Послав короткую очередь по лошадям, пулеметчик присел, высматривая Степана.

Палец его потянулся к спусковому крючку, лицо исказилось, как это всегда бывает с человеком, который стреляет в противника с близкого расстояния и даже слышит удары пуль в тело... Но очереди не последовало.

Позади мотоциклистов возник Левушкин – в растерзанном, мокром ватнике и брезентовых бесшумных сапогах. Раздались два одиночных автоматных выстрела.

Затем Левушкин бросился к телеге мимо оцепеневшего Степана и, схватив флягу, приварился к ней пылающим ртом.

Даже если бы в этот момент Левушкин увидел наведенный на него пушечный ствол, то и тогда не мог бы оторвать себя от фляги: такое было на его физиономии упоение и блаженство. Наконец фляга была опустошена.

– То-то, слышу, у вас идет веселье, – сказал Левушкин и бросил флягу на ящики. – Шумуто, шуму, тихо помирать не умеете...

Степан же, глядя на Левушкина удивленными, застывшими глазами, приложил ладонь к боку, еще более изумился и сполз под остановившееся колесо.

– Ты чего? – бросился к нему Левушкин. – Чего, Степка?

– Задела! – сказал ездовой. – Слушай, Миронов там! – Он указал на соснячок, где еще колыхались ветви. – Убежал... Тащи его, Левушкин... Трясца его матери, тащи!..

На дороге уже не стреляли.

3

Покинувший опушку Гонта поспел к дороге как раз в ту минуту, когда Топорков, поняв, что мотоциклистов им не одолеть, крикнул Бертолету: «Отход!» – и приготовился прикрывать отступление.

Гонта еще не добежал к месту боя, не успел выбрать позицию и, сунув ствол МГ в рогульку раздвоенной сосенки, держа пулемет неловко, как отбойный молоток, дал в сторону мотоциклистов неприцельную, наугад, очередь.

Безостановочно работающий затвор сжевал остаток ленты, выплюнул последнюю гильзу и осекся.

Но этой очереди было достаточно: помогая друг другу, немцы кое-как развернули мотоциклы на узкой песчаной дороге и умчались, оставив в лесу двух солдат «без вести пропавшими».

Этих-то солдат, лежавших ничком на земле, Гонта и остальные партизаны, возвращавшиеся после боя у дороги, увидели, когда разыскивали обоз. Неподалеку от солдат, выпятив ободья ребер, лежали и две заводные партизанские лошадки.

Затем глазам партизан предстала картина еще более неожиданная.

Истерзанный, в грязи и царапинах, Левушкин держал одной рукой за воротник старшину-сверхсрочника Миронова, а другой бил его по круглому лицу, которое легко, как воздушный шарик, моталось от одного плеча к другому.

Степан же сидел на земле; прижав алую ладонь к боку, подбадривал рассвирепевшего разведчика хриплыми возгласами:

– Врежь ему, Левушкин! В плен гаду захотелось!

Увидев Гонту, Левушкин швырнул Миронова на землю.

– Вот… – сказал он. – Дезертир, сволочь! Хотел еще прирезать меня в соснячке… Бросил обоз.

– Где Беркович? – спросил Топорков.

– Там, – Левушкин кивнул в сторону деревни, и губы его дернулись, словно от нервного тика. – В голову.

– Так, – качнул головой Гонта и подозвал Галину: – Перевяжи ездового.

Затем он обратил взгляд на Миронова.

– Встань! – приказал Гонта, и Миронов быстро вскочил. Глаза его, уже подплывшие синевой, сновали, как маятник у ходиков. Тик-так, тик-так… От Бертолета – к Гонте, от Гонты – к Топоркову. В нем ничего не осталось от бравого и уверенного в себе сверхсрочника. Эта разительная перемена несколько озадачила Гонту, и он прикусил губу, размышая над проишедшим.

– Сволочь он, – бормотал Степан, пока Галина разрезала на нем влажную от крови рубаху. – Бросил! Убежал!

– У меня автомат отказал! – крикнул Миронов торопливо. – Я хотел за помощью! А Левушкина в соснячке не разобрал, думал – фашист. Я к вам хотел, за помощью… Товарищи!..

Лицо Гонты стало тяжелым и однообразно-жестким, как булыжник. От человека с таким лицом нельзя было ожидать сочувствия, и Миронов это понял. Он перевел взгляд на Топоркова. Этот человек, иссущенный, сдержанный, неторопливый, не мог прибегнуть к самосуду, нет, он никак не мог поступить не по закону!

– Товарищ майор, – взмолился Миронов. – Вы ж кадровый! Ей-богу, автомат неисправный… Отказал! Так я кинулся за помощью. Могли ж обоз захватить. Все оружие!.. Ведь не за себя же думал!

– Постойте! – сказал Топорков Гонте. Он подошел к телеге, оторвал доску в крышке одного из ящиков с оружием и достал новенький, блестевший смазкой ППШ. – Черт с ним, пусть берет и воюет. Нам каждый человек дорог!

– Эх, майор! – презрительно ответил Гонта и приказал Левушкину: – Подай-ка автомат Миронова!

Левушкин, блестя разгоревшимися глазами, тут же подал автомат. Гонта бегло осмотрел затвор.

– Неисправный, говоришь? – переспросил он у сверхсрочника. – Это мы очень просто проверим… Становись к сосне!

Миронов проглотил слюну и, шатаясь, ослабев, сделал несколько шагов назад.

– Если неисправный, тебе бояться нечего… – И Гонта вскинул автомат. Кургузый его палец лег на спусковой крючок.

И тут Миронов, жалкий, растерявший всю свою бойкость и выпрямку и едва державшийся на ослабевших ногах Миронов, сделал то, чего от него никто не ожидал: мгновенно хлестко разогнулся, словно подброшенный пружиной, взлетел в воздух и столкнулся с Бертолетом, который только что подошел к обозу, держа каску в руке за подбородный ремень, как котелок. Подрывник, сам того не понимая, преграждал Миронову путь к лесу.

Как-то коротко и очень ловко Миронов ударил Бертолета ладонью в подбородок, отчего тот завертелся беззвучным волчком, а сам, петляя, помчался между сосенками.

Левушкин метнулся было следом, но Гонта крикнул:

– Стой! – и поднял автомат.

Устроившись поудобнее, Гонта повел стволом, отыскал мушкой движущуюся, бешено работающую лопатками спину Миронова.

Но случилось невероятное. В тот момент, когда Гонта нажал на спусковой крючок, Топорков, изогнувшись, ударил ладонью по круглому диску.

Автомат заговорил, затрясся, но очередь, срезая ветви, ушла в небо.

Миронов скрылся за деревьями.

– А-а… – яростно промычал Гонта и повернулся к Топоркову.

День шестой. Топорков раскрывает тайну

1

Майор стоял посреди обоза, открытый взглядам шестерых людей, стоял твердо и неуязвимо.

– Та-а-ак… Значит, все-таки я не ошибся, – сказал Гонта с натугой. – Ты все-таки!..

Левушкин сделал шаг к майору. И все, кроме сидевшего у телеги Степана, повторили это движение. Вокруг Топоркова образовалось кольцо.

Левушкин и Гонта смотрели на Топоркова ненавидяще, найдя наконец виновника всех неудач. Во взглядах остальных сквозила нерешительность, они словно бы ждали объяснений, оправданий…

Все, что они делали до сих пор и что готовы были сделать, теряло смысл. Все рушилось с бегством Миронова и предательским поведением человека, который позвал их за собой, и повел, и довел до самой опасной черты.

– Ну, майор, – угрожающе сказал Гонта, и круг стал уже, теснее. – Я тебя предупреждал… твоя смерть впереди моей ходит!

– Подождите! – негромко сказал Топорков. Он покачнулся, но, как гирокоп, вернулся к строго вертикальному положению.

Лицо его, длинное, с сухим, надменным ртом, странным образом дернулось, словно был некто, управляющий мимикой, потянул изнутри за проволочку.

Топорков протянул худые длинные руки к ящику с отбитой доской, извлек из-под крышки еще один автомат, а затем невероятным для хрупкого тела усилием поднял тяжелый ящик и бросил вниз на тугие сосновые корни.

Доски крякнули, разошлись, и наземь посыпались завернутые в тряпицы камни вперемешку с какими-то обломками металла – покореженными винтовочными стволами, снарядными корпусами с вытопленным взрывным нутром, гильзами, хвостовиками авиабомб…

Весь этот металлом хлынул под ноги партизанам.

Круг расступился, и Топорков бросил второй ящик. И в нем тоже оказались ненужные никому куски железа и камни.

– Вот так, – сказал Топорков и, пошатнувшись, оперся о телегу.

Они молчали. Они ждали, что он скажет…

Странно, удивительно: сделав это последнее, самое неожиданное разоблачение, замкнув цепь чудовищных открытий, он снова приобретал власть над отрядом. Выражение угрозы на лице Гонты с каждой секундой теряло свою остроту и силу, уступая место несвойственной ему задумчивости. Это ожидание, его вынужденность отдаляли Гонту от майора, который вновь обрел право объяснять и требовать.

Топорков нагнулся и подобрал два закопченных кирпича, попавших в ящики с какого-то партизанского очага. Все посмотрели на кирпичи, как будто ожидая, что они превратятся в бруски тола или в коробки с пулеметными лентами.

– Вот что мы везем во всех ящиках, – сказал Топорков голосом, который не оставлял надежд на подобные метаморфозы. – У нас ложный обоз… Вот почему мы и шли так странно – задерживались, приманивали фашиста. Настоящий обоз вместе с ударной группой идет другой дорогой. И не в Кочетовский отряд. Ваши товарищи выполняют задачу, от которой зависят тысячи жизней.

Он посмотрел на кирпичи и продолжал, как будто лепя по их подобию увесистые, угловатые слова, падающие в наступившую тишину глухо и неспешно:

– Пойти на эту уловку пришлось, потому что в отряде действовал предатель, немецкий агент... Теперь мы знаем, кто это, а тогда не знали. Было ясно, что он постарается попасть в обоз... Узнать маршрут, а потом удрачить, когда станет горячо.

Топорков облизнул сухие губы и отышался, ладонью придерживая мехи в тощей груди. Никогда еще он не говорил так долго. Гонта опустил голову, чтобы избежать прямого взгляда майора.

– И было нужно, чтобы этот предатель удрачил и рассказал немцам, как важен этот обоз, чтобы те приковали к нам все свои мобильные силы, чтобы у них не возникло никаких подозрений...

Он еще раз облизнул губы. А Галина замедленным движением, как бы в нерешительности, протянула майору фляжку.

– Благодарю, – сухо сказал майор, и вода пролилась на его острый подбородок. – Наша задача – увести немцев за речку Сночь! И Миронов поможет нам это сделать, детально пояснив фашистам маршрут обоза.

При этих словах Левушкин присвистнул, и левый глаз его, чуть подсиненный снизу после возни с Мироновым, как-то сам собой подмигнул Топоркову.

Какая-то ощущимая подвижка произошла на застывших лицах партизан при упоминании реки Сночь, словно бы эта далекая осенняя река дохнула на них холодом. Галина подошла к Бертолету и осторожно коснулась его руки.

– ...Если мы сделаем это, то настоящему обозу ничто не будет угрожать, он достигнет цели. А цель его – концлагерь под Деснянском. Там, на строительстве аэродрома, готовится восстание. Знаю, надежды дойти до реки Сночь у нас теперь мало, очень мало. И поэтому я хочу, чтобы каждый из вас все взвесил... и тот, кто решит и дальше идти вместе с обозом, должен знать, что обратной дороги нет, – Топорков бросил надоевшие прокопченные кирпичи и расправился, вздохнул, как будто избавился от бог весть какой тяжести, и добавил иным, потеплевшим голосом: – Вот такие пироги!

Наступило настороженное молчание.

Ах, хорошо в осеннем лесу, в преддверии близкой уже зимы, когда приглашены яркие летние огни, повешены шторы из высоких кисейных облаков, зажжены березовые свечки, и тишины этой, тишины, пропахшей прелым листом, тонны вылиты на землю из таинственных хранилищ, и природа говорит человеку: вот мой вечерний час, редкий, неповторимый; сядь, поразмысли, не спеши...

Не спеши! Хорошо тому, у кого этот вечерний час долог и ленив, как лет осенней паутины, у кого впереди и утро, и полдень, и прохлада, и зной... А каково, если минуты считаны и надо враз решить – как жизнь перерубить?

...Они думали и не стыдились того, что думали, потому что их попросили об этом.

Первым не выдержал Левушкин.

– Выходит, ловят щучку на живца, а живец, выходит, – это я, – сказал он Андрееву, и глаза его подернулись озорной, хмельной поволокой. – А я всегда хотел в щуках ходить.

Но Андреев не поддержал шутливого тона, которым разведчик хотел разрядить обстановку. И лица других партизан долго еще оставались серьезными и отрешенными.

Наконец Бертолет бережно снял ладонь Галины со своей руки и, не говоря ни слова, направился в сторону обоза. Каску он по-прежнему держал за подбородный ремень, как котелок, и в ней что-то позвякивало и погромыхивало.

Все проводили Бертолета настороженными взглядами, и Галина вся подалась вперед, как бы желая помчаться следом.

– Да что уж думать, товарищ майор, – сказал Левушкин, покосившись вслед Бертолету. – У нас философы есть, пусть они думают.

А Бертолет, не говоря ничего, подошел к своей телеге, стал выгружать из каски какие-то болты, гайки, детали мотоцикла. Затем деловито поправил сбрую на упряжке. И этот жест означал, что выбор сделан, и все остальные, глядя на подрывника, поняли, что не надо никаких слов, обещаний и клятв.

2

Лошади, тужась, упираясь крепкими ногами в песок, тащили телеги по лесной дороге.

Галина шла рядом с телегой, на которой лежал раненый Степан. Отрешенное выражение, свойственное всем раненым, оказавшимся наедине с болью, уже поселилось на побелевшем лице.

Но, скосив глаза, Степан увидел, что медсестра Галина, боевой товарищ, прячет влажные глаза в шершавом шинельном воротнике.

– Ты чего? – взволнованно спросил Степан.

– Берковича жалко, – всхлипнула Галина. – Похоронить не смогли… Детишек он не отыскал… Всех нас жалко!

Гонта пристроился к Топоркову, деликатно откашлялся в кулак:

– Майор, вот твой автомат и парабеллум. Командуй.

– А… – сказал Топорков. – Хорошо. Он забросил автомат за плечо, а пистолет уложил в расстегнутую кобуру.

– Конечно, ты меня виноватишь, – хмуро сказал Гонта.

– Нет. Худа вы не хотели, во всяком случае, – Топорков посмотрел в насупленное лицо партизана. – Скажите, Гонта, кем вы были до войны?

Не глядя на Топоркова, Гонта ответил:

– Заместителем председателя райисполкома.

– Ого! – сказал майор. – И долго?

– Месяц!

– А до этого?

– До этого?.. Разные должности занимал. Выдвиженец.

– А все-таки?

– Вообще-то… в пожарной охране… Механизатором был. Жаль, вы не в нашем хозяйстве работали, а то бы меня знали. Ну а потом в зампреды выдвинули.

– Ну и как – не страшно было?

– А чего? Не боги горшки обжигают.

– Да, – согласился Топорков и, поймав взгляд Гонты, добавил с ударением: – Насчет горшков!..

У ручья обоз остановился. Лошади мягкими губами приклеились к воде и пили долго, вздыхая о чем-то своем, лошадиным, раздувая ребристые бока.

Партизаны занялись срочной работой: вскрывали ящики и высыпали их содержимое в бочажок, пустые же ящики ставили обратно на телеги.

Булькала, пузырилась вода, поглощая камни и куски железа. И лица партизан были озабочены и суровы, как будто они топили не хлам, не балласт, а бесценный, спасительный груз. Все совершалось в угрюмой немоте, как некое жертвоприношение. И только безразличный ко всему лес озвучивал эту сцену вскрикиванием соек и сорок и клекотом быстрой осенней воды в ручье.

3

Лес становился все более сырым и темным. Упряжки одна за другой преодолевали крутой и скользкий подъем. Молча, с каким-то унылым отчаянием, помогали лошадям люди. Левушкин, схватив кнут, стегнул лошадей, прорычал злобно:

– Ну, клячи навозные, так вас!

Лошаденки, вздрагивая под ударами, рвали телегу из грязи.

– Ты не так, – сказал Степан. Он приподнялся, сделал зверское лицо, втянул губы и издал оглушительное шипение, как если бы телега попала в змеиное гнездо: – Ш-ш-ш-шнел-лер! Ш-ш-ш-шнел-лер! Ф-ф-форвертс!

Тяжеловозы пошли бойчее, а следом за ними побежали, помахивая хвостами, ученые колхозные лошадки.

Майор внимательно и обеспокоенно наблюдал за этой сценой. Это не ускользнуло от Гонты.

– Зря ты рассказал насчет камней, – сказал он.

Топорков ничего не ответил, и Гонта, поразмыслив, добавил:

– Надо было как-то выкрутиться. Придумать чего-нибудь.

– Зачем?

– Чтобы людям не переживать зря, – убежденно сказал Гонта. – Легче бы им было, если бы думали, как раньше, что везут оружие.

Топорков с нескрываемым любопытством посмотрел на Гонту.

– В военном деле, – он подчеркнул эти слова, – в военном деле случается, что нельзя говорить правду. Но если есть возможность ее сказать, то ее надо сказать.

– Это рассуждения, – возразил Гонта. – А людям тяжело идти. Из-за пустых телег никому неохота мучиться и помирать неохота.

– Зато они знают правду.

– А правда эта воевать будет за них?

– Видите ли, – спокойно ответил майор, – если человек идет со мной, не зная правды, то в трудную минуту я не смогу на него рассчитывать. А тот, кто, зная все, остается со мной, тот будет со мной до конца.

– Нет! – с жаром отвечал Гонта, и бронзовое, крепкое его лицо потемнело. – Не все надо людям знать! Это вот как раз теперь я за них не поручусь! Трудно будет – уйдут! Бросят все и уйдут.

В леса полесские, в болота скатывалось белесое солнце, сумеречный холод пополз по дороге ужом, сухой соснячок сменился дубовой рощицей, а вскоре и ольховник замигал редкими жесткими листьями.

В плоские зеркальные лужи, отражающие вершинки осин, наезжали колеса, резали деревья на части и били по деревьям тяжелые сапоги, но спустя несколько секунд все успокаивалось, ветви вновь тихо укладывались в зеркальные овалы...

Шагавший с последней телегой, рядом с Левушкиным, Андреев выстрелил вдруг острой бородкой по направлению к напарнику:

– Слушай, Левушкин, откуда они такие берутся?

– Кто?

– Ну, Мироновы!

– От сырости, – угрюмо ответил разведчик.

– Дурень, балаболка! – рассердился старик. – У меня серьезный интерес: откуда гады берутся? Ведь я ж с ним из одного котелка ел!

– Отстань, дедунь! – сказал Левушкин. – У меня за этот день много чего в башке перепуталось.

– Бертолет! – позвал с телеги Степан.

И когда подрывник, белея непокрытой головой, подошел, ездовой пошарил своей ладонью-клешней под шинелью и вытащил две замусоленные бумажки.

– Хочу тебе отдать… – и, встретив недоуменный взгляд, пояснил: – То квитанции за коней.

– Каких коней? Ты что, Степан?

– То у меня, когда я вакуировал колхозных коней на восток, реквизовали пять штук в армию. Кончится война, так, может, същутся. Кобылы, правда, жерёбы были, а жеребцы, може, выжили… Хорошие жеребцы, колхозу приплод будет. А то выведется порода.

– Да ты сам передашь документы, Степан, – успокоил ездового Бертолет.

– Раненый я, маневру нет! – сказал Степан рассудительно. – Видишь, положение у нас какое! А ты, может, спасешься… Каску чего снял?.. Надень! Не геройствуй, – сказал Степан, как ворчливый «дядька», и скосил глаз на идущую в стороне Галину. – И вот еще что…

Все из того же подшинельного хранилища ездовой извлек какой-то странный цветастый комок.

– От… Чиколатка трофейная, немецкая. Дай Галке. Скажи, что от тебя. Она обрадуется… Она дивчина хорошая, трудящая, а от войны мало добра видела…

Вышел на дорогу впереди обоза Гонта, остановился посреди колеи, как надолб: темный лицом, темный кожаной курткой. Подождал, пока поравняется с ним Топорков.

– Немцев и слухом не слыхать, – сказал он, и надежда тонко прозвенела в его низком, грубом голосе.

– И не будет, – сказал Топорков. – Маршрут они знают, встретят нас завтра где-нибудь на выходе из пущи…

– Так, – выдохнул Гонта, и не было уже в его голосе несмелого серебряного звона. – Зато переношуем спокойно, так, майор?

– Так, – согласился майор. – Скажите, Гонта… Вот вы говорите, не надо людям знать правды. А вот вы как? Вы знаете… И могу я положиться на вас?

– Да, – ответил пулеметчик без колебаний. – Я сдюжаю. Так я не про себя говорил… Про других.

– А… – пробормотал майор и поморщился, как будто услышав что-то знакомое и надоедливое. – Вы, значит, про «массу» беспокоились. Понятно…

Он оглянулся.

В молчании устало двигалась по лесной дороге ведомая им «масса» – прихрамывающий Бертолет, закованный в брезентовую броню таежный охотник Андреев, маленькая медсестра Галина, ловкий и злой разведчик Левушкин.

Ужинали у костра молча. Лица уставших партизан были полотняно белы, и щетина темнела на них чернильными мазками.

Хрустели овсом лошади, с неживым бумажным шелестом трепетали над головой листья осин.

Ели. Деловито скребли дюралевыми, самодельного литья ложками в котелках. У костра сидели пятеро – шестой, Гонта, ушел в дозор…

Андреев, таежный человек, покончив с кашей, облизал ложку до зеркального блеска и, бесцеремонно поводя бородкой, уставился на майора:

– Товарищ Топорков, извините меня за имеющийся на уме вопрос, – начал он осторожно.

– Слушаю! – и майор поднял свой заостренный подбородок.

Старик замялся.

— «Чем ревматизм лечат?» — подсказал Левушкин, сохранявший полынное хмурое выражение лица.

— Вопрос такого рода, — сказал старик, не обращая внимания на Левушкина. — Как получаются, к примеру, такие личности, как Миронов? Ведь я же с ним вчера из одного котелка ел... Как же это возможно?

И столько было выстраданной горечи в вопросе старика, что Левушкин, успевший поднять насмешливую, изогнутую, как спусковой крючок, бровь, тотчас ее опустил и удержал готовую сорваться реплику; майор же отложил ложку и, откашлявшись, посмотрел на Андреева с грустной проницательностью философа, признающего все беды мира, но ничего не могущего исправить.

— А вам никогда не приходилось встречать прохвостов? — посмотрел на Андреева майор.

— Нет, — прямо признался старик. — Не выходило.

— Везучий вы человек... И жизнь уж прожили.

— Так я какую жизнь-то прожил? — сказал Андреев. — В тайге уссурийской охотничал...

А у нас там худому человеку никак невозможно. К примеру, обмануть товарища. Такому там не выжить. У нас там все как-то ясно... Вот, к примеру, тигра отловляешь. Так он и есть тигр — лютый зверь, он тебя и не обманывает — когти показывает, зубы... Я так полагаю, что нельзя Миронову боле жить на свете, — убежденно закончил Андреев. — Неправильно это, что Беркович, своих детишек не найдя, погиб, а предатель жить остался. Неправильно!

— Да, — согласился майор, — неправильно... Спрашиваешь, как они, такие Мироновы, получаются?.. Завербованный он, немецкий агент...

— Так он же не дитёй завербованный! Он же наш человек родился-то...

— Да. Купили чем-то. Или запугали, — сказал майор. — Вот в концлагере бывало: бывают, бывают, потом в одиночку суток на трое посадят, без воды, без хлеба, а потом вызывают к коменданту... в кабинете еще какой-нибудь лейтенант из абвера... Колбаса на столе, пиво. И пистолет... Находились такие, что не выдерживали. Очень трудно умирать, когда пиво на столе. А если хоть одного товарища продал, бумагу подписал, то — все. Нет уже хода к своим... такая, будь она неладна, логика!

— Это вроде бы он сам не сволочь, а произведенный в сволочи? — прищурился Андреев.

— Нет, — сказал майор. — Это он прежде всего сволочь!

— Правильно! — с радостью согласился старик.

— Я думаю, прохвост — он всегда прохвост, — неожиданно вступил в разговор Бертолет. — Вот в райцентре, где я учительствовал, работал один человечек на карантинной станции. Так он кляузы писал, доносы... До войны еще. Завистлив был, нравилось ему это: других губить, особенно если этот другой получше, повиднее... Что же? Как немцы пришли, он по-прежнему продолжал доносы писать, только уже в гебитскомиссариат, в адрес другой, так сказать, власти, но с той же терминологией и с той же целью.

— И все пишет, гад? — с негодованием спросил Левушкин.

— Нет... Хлопцы попросили его подорвать. Вместе с домом. Он один жил, к счастью. Дали два снаряда, я реплюшку соорудил кое-как часовую... Жаль вот, в мирное время нельзя кляузников и доносчиков подрывать! Я б ходил бы и подрывал...

— Ого! — насмешливо сказал Топорков, удивляясь решительности Бертолета.

— А правильно, — согласился Андреев.

Какая-то беспокойная, жгучая мысль терзала его, как прилипчивая оса, выющаяся у глаз, и он наконец сказал глухо и строго, стараясь быть официальным:

— Товарищ майор Топорков, а не могли бы вы меня откомандировать на предмет, значит, чтобы с Мироновым рассчитаться? Теперь он вам, надо думать, ненужный.

— Зато он немцам нужный, — сказал Топорков, усмехнувшись. — Вы до него не доберетесь, Андреев.

— А я таежный человек, — сказал старик, хитро сверкнув глазом. — Припрячусь где-нибудь, где ихнее начальство шастает, с винтовочкой. Суток пятеро я без еды смогу высидеть... И уцелю его, значит, как увижу. А то обидно: мы вроде как погибать идем — ну что ж делать, надо, стало быть... А он жить останется. А для чего? Пиво это немецкое пить?

— Нет, Андреев, вы здесь нужны со своей винтовочкой, — вздохнул Топорков. — Далеко еще нам до реки Сночь...

— Оно, конечно, далеко, — согласился старик, но видно было, что мысль о предателе не оставила его и не скоро оставит...

4

Как сидели партизаны у костра, так и заснули коротким, обмороочным сном. Уснул и Топорков. Казалось бы, и вовсе не должно в нем остатся сил после боя, закончившегося бегством Миронова, и тяжелого перехода, но странно: едкие морщины у уголков губ и глаз словно бы разгладились, размягчились; лопнул где-то внутри узел, стягивавший эти темные нити, и они ослабли; исчез напряженный прищур, и лицо как будто стало добре... Уснул майор, так и не выпустив из руки карандаша, которым сделал очередную запись в дневнике:

«24 октября был бой. Погиб Беркович. Ушел Миронов. Прошли 24 км. Егеря отстали. Видно, готовят сюрприз».

Над сонным этим лагерем, как колыбельная, звучала незатейливая песня о двух израненных солдатах, что шли «с турецкого края домой»: это Левушкин, нахохлившийся, как птица, сидел на поваленном дереве близ пасущихся коней и напевал себе под нос.

И еще не спал Бертолет. Усевшись рядом с костром в своей излюбленной позе, подогнув ноги и поставив на колени каску, он колдовал над ней, как хозяйка над кастрюлей, позвякивал металлом. А рядом с подрывником, прижав к его плечу худенькое, в редких крапинках веснушек лицико, дремала Галина.

Эта их близость, не страшавшаяся чужих глаз, раздражала Левушкина. Он недовольно поглядывал им в спину и наконец мягко, неслышно подошел к костру. Покосившись на руку медсестры, доверчиво лежавшую на плече Бертолета, Левушкин спросил без особого дружелюбия:

— Чего ковыряешься, Бертолетик?

— Понимаешь, хочу электровзрыватель соорудить, — поднял тот свою иноческую бородку. — Магнето снял с мотоцикла, а у меня как раз подходящий детонатор.

— Соображал бы, — буркнул Левушкин, — с запалами возишься, изобретатель, так хоть бы девчонка не сидела рядом!

И он снял руку Галины с плеча подрывника, но, отойдя несколько шагов, увидел, как рука, словно заводная, вернулась на место. Левушкин сплюнул и пошел на свой пост, еще печальнее напевая о двух раненых солдатах.

День седьмой. Западня

1

Был утренник, сухая белая соль выступила на траве, и сыпались, сыпались дождем последние листья, и видно было, как поредел за одну ночь осенний холодный лес.

Безостановочно работали копыта, тяжело шагали избитые сапоги, приминая вереск. Бертолет, подвязав вожжи за передок своей телеги, нагнал Галину.

— Тихо как! — он взял ее за руку, и лицо ее просветлело. — А главное, мы все вместе и снова верим друг другу... Так было тяжело последние дни. Подозрения, недомолвки. Мне очень хорошо в отряде. Здесь все искренни... Конечно, глупо, даже стыдно признаться, но до войны... — он замялся, — до войны я как-то не ощущал рядом близких людей. Я не то говорю, да?

— Нет, говорите! Я понимаю...

Она вдруг остановилась, встала на цыпочки и, следуя извечному женскому неприятию беспорядка, пригладила светлый, беспокойный клок, торчавший на макушке подрывника.

— Вам идет без каски, — сказала она, как будто речь шла всего лишь о модном головном уборе. И рассмеялась.

В этот ранний сумеречный час лицо медсестры казалось особенно юным, незамутненным, свежим, и Бертолет смотрел на него не отрываясь.

«Та-та-та...» — весело, как трель охотничьего рожка, прозвучала автоматная очередь. Это напомнили о себе егеря, любители эдельвейсов.

Зачем пришли они в полесские леса, под это серое, в белую облачную крапинку небо? Та-та-та-та... Большая «охота» началась у егерей. Вылавливают затерявшийся обоз с оружием.

Партизаны остановились. Из зарослей, шумно дыша, выбежал Левушкин:

— Егеря слева, товарищ майор! Идут цепью.

— Мотоциклов не слыхать?

— Нет. Сыро там... Не пройдут.

— Сворачивай направо. Гонта!.. Вилло, в охранение по правому флангу, Левушкин — по левому!

И обоз ушел с лесной дорожки в лес, где колеса тонули в мягкем вереске по ступицам, где было сумрачно и влажно.

Та-та-та... Звонкое лесное эхо подхватило раскат очередей, стало бросать его из ладони в ладонь, как колобок.

— Егеря справа! Идут цепью широко.

— Поворачивай, Гонта! — крикнул Топорков. — Прямо держи, на север! Андреев и Левушкин, будете прикрывать.

— У Бертолета на возу полтора пуда взрывчатки, — доверительно сообщил Топоркову с телеги Степан. — Вы ко мне переложите... Если окружат, салют сделаем.

— Лежи... Восстановливай гемоглобин... — сказал Топорков и затем крикнул на трофейных битюгов: — Ну давай! Фор-вертс, шнеллер!

Тяжеловозы пошли бойчее, а следом за ними побежали, помахивая хвостами, колхозные лошадки.

2

Потрескивали в лесу короткие автоматные очереди. Словно где-то там, за осинничком, разгорался гигантский бездымный костер. Невидимое его пламя уже опалило лицо разведчика Левушкина, потемнело оно, сжухлось от предчувствия близкого и тяжелого боя, и лишь глаза светились, как всегда в минуту опасности, хмельно и дерзко.

Безумолчно верещали, пролетая над головой и спасаясь от автоматного треска, сороки и сойки. Неожиданно выскоцил из-за кустов заяц, шмыгнул у самых ног Андреева и Левушкина.

– А ведь егерки и нас, как этого зайца, куда-то гонят, – сказал старик. – Вытесняют! Куда, спрашивается! – Он вдруг настороженно застыл. – Слышишь, Левушкин? Что это?

Равномерное позванивание примешалось к сухим строчкам автоматных очередей. Оно приближалось. Это был пасторальный чистый звук, он противоречил панике, охватившей лес, он казался нереальным.

– Будто на урок сзывают, – прошептал Андреев.

– Мне не надо, – сказал Левушкин и сплюнул. – Я целых пять классов окончил. Мне хватит.

Все сильнее и ближе звонили колокольцем. И вот, выламывая осинничек, прямо на партизан выбежали две черно-белые «голландки».

– Глянь! – изумился Левушкин. – Мясо!

Передняя корова, огромная, с подпиленными рогами, с колокольчиком-«болтуном» на ошейном ремне, остановилась и дружелюбно замычала, словно при виде хозяев, готовых отвести ее в безопасное стойло.

– Видать, от стада отбились… – сказал Андреев. – А может, пастуха убило… Всех война губит. Пойдем!

Они поспешили зашагали по мягкому вереску. Выстрелы приближались. «Голландка», покачивая полным выменем, потрусила за партизанами, следом побежала и телка.

Все глубже в лес загоняли партизан егеря. Начались топкие места. Голые, чахлые осинки стали и вовсе низкорослыми, скрученными от своего древесного ревматизма. Появились мохнатые и высокие, как папахи, кочки, украшенные красными глазками созревшей клюквы, и черные, зловещие окна стоячей воды.

Лошади, напрягая ноги, тянулись вперед всем телом, выдирили телеги из болотной липучки.

А позади – уже не по флангам, а позади – широко, километровым фронтом растекался треск большого военного костра, зажженного егерями: та-та-та-та!

Остановился Гонта – почти под ступицы подобралось болото, по лоснящимся темным бокам лошадей сползали, как мухи, крупные капли пота, и пена запекалась на шерсти.

Топорков с трудом выдирил свои болтающиеся на тонких ногах сапоги из черного месива. Лицо его оставалось сухим и бледным, но он задыхался, и кашель бродил в нем, клокотал и рвался наружу холодным бешеным паром.

– Вот куда гонят нас егеря! – Гонта посмотрел на свои утонувшие в болоте ноги. – Ловко!

– Да, – сказал майор, отдохнувшись. – Хотят притопить в болоте, а после выудить без потерь.

– А виноват я! Это я загнал обоз в Калинкину пущу!

Топорков взглянул в затравленные, глубоко ушедшие под брови глаза Гонты.

– Виноват тот, кто учил вас, что горшки обжигать – это очень просто, – сказал майор безжалостно.

3

Лесной следопыт Андреев первым увидел за жалкими, скрюченными прутьями ольховника, за пожелтевшей осокой, за зарослями черной куки плотные кроны сосен.

Сосны не растут на болоте! Там, в трехстах метрах, начиналась песчаная сушь, земля обетованная, жизнь!

– Туда, товарищ майор! – закричал Андреев, барахтаясь в болоте.

…Последнюю упряжку, с ослабевшими лошаденками, партизаны втащили на песчаный бугор, находясь в полном изнеможении, с ног до головы выпачканые в грязи, блестя зубами и белками глаз. Они победно оглядели сосны над головой и повернулись назад; там, в болоте, потрескивало, приближаясь, автоматное пламя. Бугор меж сосновых стволов густо зарос ежевикой и папоротником. Ежевика впивалась в тело, царапала. Пустяки! Под ними была плотная песчаная земля!

Сверху партизаны увидели, что за бугром им предстоит преодолеть необозримо гладкое пространство, ковер из похожего на снежные цветы белокрыльника, багульника, трав и мхов. Это пространство казалось прочным и незыблемым, как и та твердь, на которой они стояли.

Но в десяти метрах от берега, утонув почти по самые плечи в серо-зеленом ковре, как бы с обрубленным телом, стоял Андреев, и от него тянулась к холму заастающая на глазах полоска черной воды.

– Все! – крикнул Андреев. – Дальше топь. Нету нам ходу с бугра. Остров это, товарищ майор.

Со стороны только что пройденного партизанами мелкого болота тявкающим голоском простучал автомат, и пули с характерным шлепающим звуком ударили в сосновые стволы, да так гулко, что показалось, будто выстрелили сами деревья.

– Распрягай! Коней, телеги – под бугор! – скомандовал Топорков. Он задохнулся в кашле и хриплым голосом закончил команду: – Оканчивайся! – И, взял лопату с телеги, полез на вершину холма, под сосну; следом за ним, с пулеметом на плече, отправился Гонта.

– Может, отсидимся, сдержим егерей? – сказал Гонта вопросительно. Как ни хмурил он брови, ему не удавалось скрыть виноватый, растерянный взгляд.

– В болотах наша сила, – заметил Левушкин с иронией и принял ожесточенно работать лопатой, отрывая окопчик.

Лицо Гонты еще больше поскучнело. Они замолчали и прислушались к движению, происходящему на мелком болотце. Оттуда в промежутках между автоматными выстрелами долетали перекличка егерей, ругань, позвякивание металла и… мелодичное равномерное треньканье колокольца.

Блаженная улыбка заиграла на губах Бертолета.

– Слышиште?.. Словно на челесте играют! – сказал он, вслушиваясь в звон колокольца.

– Чего, чего? – переспросил Левушкин, скривив рот. – Какая челяста? То наши с Андреевым коровки пробиваются.

И верно – из кустарника вышла крупная пятнистая «голландка», а за ней телка. Выпуклые глупые глаза животных отражали муку и полное непонимание всего, что происходит на белом свете. Спасаясь от загонщиков, коровы бросились на песчаный остров.

– К своим жмутся, – сказал Андреев. – Нет, животная не дура.

Гонта поставил на сошки свой трофейный МГ, а майор взвел затвор автомата. Длинные, тонкие его пальцы заметно дрожали. Майор вытянул кисти, посмотрел на них внимательно и прижал к груди, успокаивая, как если бы они существовали отдельно от него, жили особой жизнью.

Двое «загонщиков» с похожими на короны остролепестковыми эдельвейсами на руках курток подходили к песчаному холму, выдвинувшись из широко растянутого порядка. Они часто оглядывались, стреляли без всякой надобности и вытирали потные лица. Им было страшно, они боялись загадочного, ускользающего обоза, боялись болота, черных коряг, которые хватали за сапоги и за шинель, боялись топляков, показывавших из воды лоснящиеся спины; здесь все было чужим и враждебным.

Звонко заржала лошадь в партизанском обозе. Егеря остановились, переглянулись и осторожно подались обратно. Замерла и цепь егерей, охватившая остров полукольцом.

4

Зябко, тоскливо было на островке среди сизой сумеречной хмари, среди неизвестности. Партизан был озабочен, и они с надеждой посматривали на крохотный очаг, упрятанный глубоко в песок: там, в красной от угольев пещере, грелся казанок с чаем, и один вид этого прокопченного казанка согревал охрипшее горло.

Под соснами раздавались странные ритмичные звуки; цвирк... цвирк... – будто пел жестяной сверчок. Быстрые руки Галины скользили по коровьим соскам. И били из переполненного вымени «голландки» по ведру тугие струи: цвирк, цвирк...

И тут же, чуть выше, сторожа непрочный уют этой странной, слuchаем сложившейся семьи, чернел пулемет. Привалившись к нему, Гонта набивал ленту.

– Смолкли егеря, – проворчал он. – Комбинируют... Чего комбинируют?

– Небось не отстанут, пока с нами обоз, – сказал Левушкин, прервав заунывную песню. – Мы свою долю при себе держим, как горб.

– Да. Прижали нас. Ну ничего, – успокоил Андреев товарищей мудрым своим старческим шепотком. – Мы в своем kraю, а они в чужом, нам легче. Родная земля – это, брат, не просто слова, живого она греет, а мертвому пухом стелется.

– Прибауточки, утешеньца поповские твои, – вскинул вдруг Гонта и сорвался на шип, как котел со сломанным клапаном: – Ты скажи прямо: считаешь меня виноватым, что на болотах сидим? Я вас в Калинкину пущу направил или нет? Прямо скажи!

Андреев поднял на Гонту зоркие, смышеные глаза:

– Виноват, Гонта. Взялся командовать, так прояви свойство. Ты тогда не на месте оказался, а сейчас ты на месте. При пулемете твоем место, Гонта, а не в генералах. Для каждого человека точное место подготовлено, где душа с умом сходятся, как в прицеле, и дают попадание. А то бывает, что душа в небо рвется, а ум, как тяжелая задница, привстать не дает. И человеку одно мучение. Все-то он готов силой переломать.

– Не наша философия! – оскалился Гонта. – Вредный твой взгляд, дед. Человек все может. Были бы преданность да воля!

И он поднял свой литой кулак.

– Не может... Командовать-то каждому лестно. Но не каждый может, – сказал Андреев. – Ох-хо-хо... Мне бы маслица лампадного или камфорного достать. Мучает ревматизм – ну, не военная хвороба!.. Ты, Гонта, не казнись, ярость прибереги на немца.

Галина, склонившись над раненым ездовым, поила его молоком из дюралевой кружки. Зубы Степана дробно стучали о металлы.

– Попей, попей тепленького, – приговаривала Галина. – Ты крови много потерял... Вот довезем тебя до отряда, – утешала она ездового, как ребенка, – а там в самолет – и на Большую землю, в госпиталь. Там хорошо, чисто, тепло... Все в белом ходят, и всю ночь огонь у нянечки горит...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.